

В таком виде «Записки...» опубликованы в книге «Ивановы-Радкевичи: история семьи в воспоминаниях, письмах, статьях, материалах и документах (Петербург – Красноярск – Москва: 1878-2008)»

П.И.Иванов-Радкевич

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ

(Петербург – 1878-1897 гг.)

Детство

Родился я в Петербурге в тот год, когда Россия, разбив турок, заключила мир на условиях не совсем соответствующих ее достоинству и понесенным ею жертвам. Это было в 1878 году.

По всему Петербургу, как рассказывала впоследствии мать, были расклеены афиши с крупными буквами МИР. Как всякая мать она была падка на все благожелательные предзнаменования, видя в таком совпадении хороший признак для моей начинающейся жизни. Из всего раннего детства мне запомнились лишь некоторые краткие эпизоды. Помню отца, проходившего по двору: мужчина среднего роста, с черной эспаньолкой, в котелке и драповом пальто. Помню нашу средней величины комнату на третьем этаже, окном выходящую на Малую Итальянскую; помню отца, стоящего с матерью на молитве – их я рассматривал, нагнувшись до пола и опираясь в него руками. Помню розовую лампадку с круглыми просветами. Помню отца, сидящего за столом у окна, немного охмелевшего, а рядом – мать, легонько бившую отца полотенцем. Эта единственная грубоватая сценка навсегда запечатлелась в моем детском мозгу.

Отец по характеру был очень добрый и мягкий и видимо во всем уступал матери, менее доброй и более расчетливой. Бывали и такие факты, когда отец из своего поношенного платья отдавал нуждающемуся пиджак или брюки, а мать отбирала их обратно. Запомнилась еще такая сцена: у моей матери была сестра тетя Катя, чрезвычайно меня любившая. Она захотела сделать мне сюрприз и однажды в зимние Праздники, открыв входную дверь, со счастливой улыбкой втащила огромных размеров елку, при содействии сильного мужика. Мать, пришедшая в недоумение от такой картинки, возмущенно и грубо выглаткивает мужика с елкой и с бранью набрасывается на тетю Катю. Та как ошпаренная вылетает на лестницу, а «милый» мальчик, просунув голову в перилах, провожает всех плевками. Отца не было дома, а при нем все было бы совсем иначе.

Запомнился рыжий, бородатый мужчина, иногда посещавший отца. Встречая меня играющего во дворе, он, улыбаясь, напевал мне: «Ох вы, ляхи, ляхи! Куда разум делся?» – намекая на мое якобы польское происхождение по фамилии Радкевич. Ни песня, ни сам он мне не нравились. По смерти моего отца он занял его должность заведующего газовым освещением Мариинской больницы. Официально по службе отец мой носил фамилию Иванов, но письма с родины от его матери были на фамилию Радкевич. Моя мать позже объясняла мне это: когда отец был на военной службе в канцелярии, то его начальник канцелярии – полковник – желая проявить свои патриотические чувства и свое расположение к отцу, предложил отцу изменить фамилию, взяв за основу отчество – отца звали Иосиф Иванович. Время военной службы отца совпало с польским восстанием и беспорядками в Польше, и каждый гражданин в Петербурге, носящий польскую фамилию, в глазах окружающих считался врагом России.

Мариинская больница, где я прожил все свое детство, представляла из себя целый городок, в котором размещались 12 каменных и 2 деревянных корпуса. Все это было окружено каменными заборами и изолировано от окружающего задрами соседних домов. Здесь был большой сад для больных, но они здесь почти никогда не бывали и сад принадлежал нам – детям служащих. Мы умело использовали его и внутренние деревянные ворота и заборы приспособляли к устройству нашего театра и цирка. Когда наши забавы нарушали порядок и тишину, притаившийся поблизости вахтер с ремнем выбегал из засады и разгонял артистов и юных зрителей во все стороны нашего необъятного царства. А царство это действительно было украшением нашего детства. Этот изолированный от шумного города участок развивал в нас чувство красоты и любви к природе. Здесь мы видели зиму с катком, видели весну с цветением яблонь, каштанов, видели лето и осень

зреющими плодами. Все это глубоко западало в душу и в течение всей жизни вызывали во мне отрадные воспоминания. Жизнь этого своеобразного мирка протекала медлительно и спокойно; пожалуй, и теперь она мало изменилась: часы, стоявшие в окне аптеки пятьдесят лет назад, и теперь стоят на том же месте. Этот характерный факт говорит о том, что там все полно грации и течет издавна заведенным порядком. Это все, что запомнилось мне из первых шести лет жизни.

А потом жизнь наша резко изменилась. Неожиданно заболел отец и, пролежав недели три, умер. А ему было всего 45 лет [если верить датам, обозначенным на единственной сохранившейся фотографии Иосифа Ивановича, то годы его жизни следует определять как 1840 – начало 1885-го. – *Ред.*]. От природы он не был крепким и не смог побороть простуду, которая вылилась в скоротечную чахотку. Помню тот вечер, когда меня полусонного подвели к кровати; мать плакала, а отец ей сказал: «Не плачь! У бога нет сирот». Потом, по рассказам матери, попросил сельтерской воды. За стеной играли в карты, шумели, а отец подшучивал и говорил: «Я бы сейчас их всех обыграл!» Потом взял руку матери, прощаясь с ней, с хрипом умирал. Меня полусонного унесли к соседу. К отцу пришел священник с Дарами, но отец уже потерял сознание и ограничились отходной молитвой. На другой день отец лежал в общей покойнице и я водил взрослых и детей смотреть в окно «моего папу». Днем позже скромная погребальная процессия двинулась по улицам Петербурга до Митрофановского кладбища. Путь был длинен: ни кареты, ни извозчика у нас не было и мою мать, убитую горем, вели под руки ее родные и знакомые. Меня же посадили на дроги спиной к гробу, и сидеть было не совсем удобно, но все же лучше, чем идти пешком. Вот так окончилась наша жизнь с отцом, жизнь скромного благополучия; наступила жизнь одинокая – жизнь вдовы и сироты.

Так всегда бывает: при отце были и родня и знакомые, а тут как-то сразу все отшатнулись. Мать по распоряжению администрации больницы получила должность швеи, с койкой в общежитии и с окладом пять рублей в месяц и с придачей скромного стола. Поместили нас в женском общежитии. Это была очень длинная комната во втором этаже с окнами во двор-сад. Кровати стояли, как в больнице, с промежутками для стола и табуретки; столы стояли у окон тоже и кровати были высокие с чистым бельем. Так как все уходило на работу, а матери моей выдавали в чинку белье на дом, то мы с ней почти целые дни проводили одни вдвоем. Мать долго не могла успокоиться и за работой часто слезы ее катились по щекам. Появилась мигрень, для облегчения которой она обвязывала голову прохладным мокрым полотенцем и в таком положении принуждена была работать, чтобы сдать вовремя и в срок положенное количество починенного ею белья. Положение было тяжелое, но терпимое. Теперь я только изредка гулял в саду, большую же часть времени сидел с матерью.

Почти каждый праздник мы с нею посещали могилу отца. Я садился в конку. Это было нечто похожее на маленький трамвай, с местами для сиденья внутри и на крыше, куда вела наружная спиралью лестница. Вагон тащили две лошади со скоростью почти равной пешеходу. Не удивительно, что я прибывал к месту встречи одновременно с матерью, шедшей пешком, чтобы сэкономить четыре копейки. От конки надо было идти еще по длинному загородному Балканскому проспекту до Варшавского вокзала, а там был еще большой путь вдоль заборов, разделяющих вокзалы Варшавский и Балтийский.

Кладбище – это огромная березовая роща. Сплошь занятая могильными оградами и бедными могильными холмиками. У некоторых могил были устроены скамеечки, на которых приходили посидеть родственники. Среди могил были и с богатыми памятниками, но преимущественно здесь погребали бедняков, так как место здесь стоило всего 6-7 рублей. На территории кладбища были два храма: каменный собор, в котором отпевали богатых, и маленькая деревянная церковь – для бедняков.

Нам, чтобы добраться до могилы отца, надо было пройти по широкой чисто подметенной дороге, минуя все богатые мавзолеи и памятники, свернуть налево и теперь среди леса крестов

находили мы коричневый крест над могилой отца. Скамеечки у нас не было и мы отдыхали у соседей, сидя молча. Кругом никого не было; царила полная кладбищенская тишина, изредка нарушаемая карканьем ворон и гудками проходящих за заборами поездов. Мать сидела молча, погруженная в воспоминания прожитой жизни, а я, отдохнув, бегал по дорожкам, пересекавшим рошу по всем направлениям. Наплакавшись вдоволь, мать вставала, мы целовали крест и шли своим длинным долгим путем обратно домой.

Спустя некоторое время, администрация больницы устроила меня в детский сад имени принца Ольденбургского – шефа нашей больницы. Сад помещался на Бассейной улице. Это был небольшой двухэтажный чистенький домик, небольшие комнатки со столиками вместо парт. Здесь мы занимались чтением, письмом, рисованием, аппликацией из бумаги и лепкой из глины. Был средней величины зал, вдоль стен которого стояли венские стулья. Нас усаживали на них и мы пели песенки без всякого аккомпанемента. Помню учительницу Юлию Сергеевну – высокую, представительную женщину в очках. Она нас обучала всем предметам и пению. Обычно она обращалась ко мне и говорила: «Ну, Павлуша, начинай!» – и я запевал: «В гнезде воробушки живут», а все дети пели припев: «Чирик-чик-чик». Не знаю, почему меня заставляли начинать и как меня музыкально развивали до этого вообще – не помню. Рассказывала мать, что еще при жизни отца я в обществе своих сверстников и даже взрослых сам требовал, чтобы мне давали запевать: «Ты позволь, позволь, хозяин, в нову горенку пройти!» Слова и мелодию я и теперь помню, смутно представляя себе сейчас нашу общую кухню, большую, вмещавшую весь круг поющих взрослых и я в середине.

Мать часто водила меня в церковь Троицкого подворья на Фонтанке, так как это было недалеко от нас. Часто служил Митрополит Иоанникий, пел приезжавший из Москвы небольшой Чудовский хор и все это совершалось при громадном стечении молящихся. Мать устраивала меня впереди на видном месте, что давало мне возможность воспринимать и всю зрительную и звуковую картину, всю красоту богослужения. Я видел священнослужителей, хор, одетый в своеобразные польские кантуши [нарядные костюмы для певчих, в отделке которых применяется особая «золотая» кручёная нить-кант. – *Ред.*], шитые золотом по темно-красному полю, регента, управлявшего хором, лица поющих мальчиков, и все это давало богатую пищу моему детскому воображению.

Но это эстетическое зрелище сопряжено было с большим физическим трудом – долгим стоянием, и мать, желая вознаградить меня за этот труд, покупала мне по дороге горячую сосиску или пирожок с вареньем за пять копеек. Я чаще выбирал пирожок, но тут возникал вопрос: когда его съесть – при входе в храм в темном притворе, или после богослужения. Происходил маленький спор, который чаще всего заканчивался компромиссным решением: половину до, вторую же половину – после богослужения. Так была у нас сосчитана каждая копейка.

Время шло. Мне уже исполнилось семь лет. Однажды в праздник мать взяла меня в церковь, к обедне. Приходский храм св. Пантелеймона был небольшой, уютный, хор на виду. Вот тут-то я и заметил в себе способность разбираться в звучании: помню, что мне не нравились эктеньи [ектения – род продолжительного молитвенного прошения, каждое из которых завершается фразами «Господи, помилуй!» или «Подай, Господи!» – *Ред.*] в мелодическом положении терции, но нравились в положении октавы [подразумевается мелодическое положение примы в верхнем голосе. – *Ред.*]. После обедни мать, взяв меня за руку, подвела к проходящему по храму регенту и сказала: «Возьмите моего сына к себе в хор» – на что последовал ответ: «Мал еще, надо подождать [...], а впрочем, зайдите ко мне на квартиру сейчас». Жил он в двух шагах. Проверять мои способности начал он с того, что под скрипку дал спеть не соответствующую моему возрасту ноту «до». Помню, что мне было трудно ее пропеть, и я спел квартой или квинтой выше. Регент несколько смутился и сказал матери: «Пусть ходит – увидим». С этого дня я начал аккуратно ходить в этот храм и посещать назначенные репетиции, спевки.

Хор, куда я был принят, представлял из себя среди хоров Петербурга единицу низшего порядка. Весь состав, начиная с регента и кончая последним певцом, был почти безграмотным. Об

этом можно судить по неизменному репертуару, который почти никогда не обновлялся. Состав взрослых по голосам был плох. Получая за свою работу очень невысокую плату, хористы часто прибегали к займам, о чем говорили их многочисленные расписки, хотя у всех были галстуки и сомнительной свежести воротнички. Получаемое «жалованье» колебалось между 12 и 20 рублями, плюс случайные доходы – 2 рубля за службу. Таким образом, хорист выработывал в месяц от 20 до 35 рублей. Это равнялось жалованью мелкого чиновника того времени.

Мальчики-хористы были детьми бедных родителей, лишённые возможности систематически учиться, помогавшие таким образом своим родителям, чаще сироты – без отца. Внешне и внутренне хоры были приличны и ни сцен, ни скандалов не допускалось, а если появлялся певец на спевку или службу в нетрезвом виде, его тихо, без шума удаляли. Никогда никаких «выражений» не было слышно и дурных примеров в хоре мальчики не видели. За этим зорко следил регент, человек высшей степени порядочный и культурный. Где он учился и как сделался регентом, для меня осталось загадкой. Скрипкой владел он плохо, фортепиано еще хуже, но в хоровых партиях разбирался. Впоследствии нам пришлось еще встретиться в Придворной капелле, когда я был на втором курсе, а он на третьем. Но об этом речь впереди. Спевки проходили у него на квартире в небольшом зале. К спевкам предварительно собирались во дворе или на лестнице и на приглашение «пожалуйста» все вваливались в прихожую, раздевались и проходили в зал. В центре стоял попиптр для регента, перед ним полукругом мальчики по партиям, а за ними взрослые. Репетиция продолжалась 2-2,5 часа с десятиминутным перерывом «покурить».

Хор наш обслуживал два храма: церковь св. Пантелеймона и церковь Инженерного Замка (во дворце Павла I). В первом храме пел состав из 12 человек, во втором из 8, вот и весь наш хор. Меня «приставили» к опытному певцу – альту, юноше Ване Постникову, а дома текст песнопений со мной проходила мать. Простое церковное пение ей было хорошо знакомо. Так хорошо подготовленный дома и на спевках я вскоре и на богослужениях начал заметно проявлять свои успехи. За первый же месяц работы в этом хоре я принес матери рубль, что для нее в то время – трудное время – были большие деньги.

[...] Ученье в хоре быстро двигалось с помощью моего партнера и руководителя Вани Постникова. Мое месячное жалованье постепенно увеличивалось и в короткий срок поднялось до восьми рублей, а еще позднее и до двенадцати, не считая треб, и мы с матерью жили уже без заметной нужды.

Но надо же было учиться и меня приняли в городскую школу, где особенного интереса к наукам я не проявлял[...]. Могло быть причиной [...] мое болезненное увлечение скрипкой: я мастерил ее из деревянных находок и натягивал струны из ниток на вбитые колки. Вырезал в саду прутья и делал из них дровяк для смычка. Однако все это было очень не прочно и, в конце концов, мы с матерью были принуждены израсходоваться на покупку настоящей, хотя и игрушечной скрипки, которая доставила не столько радости, сколько страданий, так как струны то и дело лопались и сама скрипка ломалась. Наконец мать моя решила купить мне скрипку за 2 рубля 50 копеек и смычок за 50 копеек. Теперь уж дело было серьезное и результаты занятий быстро сказывались. Но вот беда: смычок оказался не прочный – у него выпадал волос, а магазин отказался вставлять новый. Наконец было решено купить смычок за рубль. Этот оказался прочный, и мои занятия пошли заметными шагами. Правильной работы, разумеется, не было; я играл по слуху все, что слышал кругом: песенки, вальсы, польки, звучавшие в то время во всех садах. Помню среди прочих вальсы «Дунайские волны», «Невозвратное время» – модные в эти годы. Кто меня научил настраивать скрипку и держать смычок – не помню; вероятно, помогла моя наблюдательность на хоровых спевках: регент всегда был близко и на его инструмент я смотрел с благоговением, не спуская глаз.

В свободное время жизнь моя проходила в обществе сверстников в ограде Мариинской больницы [...]. Мы играли во дворе в лапту, в чижика и в бабки. Бывали и такие дни, когда мы с моим товарищем Онисимом вместо школы, спрятав в дровах свои ранцы с книгами, отправлялись шагать по улицам Петербурга, и тогда время тянулось еще медленнее, чем в школе. Однажды мать

заметила прогул по холодному ранцу и сделала мне строгий выговор. Другой раз я наказан был строже, но не матерью.

Лиговка, узенькая канавка, была покрыта льдом – стояла зимняя пора. В некоторых местах были проруби для полоскания белья. Мы шли берегом вдоль деревянных отгородок. В одном месте я увидел накатанный мальчиками лед, быстро сбежал вниз и с разбега покатил по льду, не заметив, что в конце раската прорубь и конечно угодил туда. Я оказался в речке почти до плеч. Мой Онисим стоит на берегу бледный, от ужаса онемел и только благодаря находившейся поблизости женщине я был вытаскен из воды. Проходивший мимо мужчина крикнул извозчика и, заплатив ему, поручил отвезти меня домой. Онисим кажется и провожал меня до самого дома. Ужас моей матери был неопиcуем, когда я в мороз, весь мокрый ввалился к ней. Вместо нагоняя я получил от нее ласковый уход: она меня раздела и уложила в теплую постель. Последствий, кажется, никаких не было. Школа меня не тянула к себе, к тому же частые требы постоянно нарушали ритм школьных занятий и я, в конце концов, оставил ее.

Храм св. Пантелеймона был маленький, светлый, радостный, теплый. Домовая же церковь Инженерного замка была чрезвычайно мрачная: темный алтарь и своеобразная роскошь клиросов вполне гармонировали с общим хмурым стилем всей постройки. Чтобы попасть в него со двора надо было подниматься по винтовым каменным лестницам, даже днем скудно освещенным газовыми рожками. А круглый, вымощенный бульжником двор, в котором глухо раздавались шаги идущего по тротуару человека, производили жуткое впечатление. Оба храма находились вблизи один от другого на прекрасном месте при впадении Лебяжьего канала в Фонтанку. Весь этот район капризно прорезывался водой: недаром здесь Петр I разбил [...] Летний сад с миниатюрным дворцом, а Павел I построил свой замок. Через Фонтанку перекинут [...] Цепной мост, где мальчики из хора церкви св. Пантелеймона перед богослужением, облокотясь на перила, любовались пароходиками и всей окружающей их картиной. Все это меня эстетически трогало и пробуждало болезненную любовь к Петербургу.

Мне было десять лет, как однажды на репетиции регент сообщил, что нам предстоит пробная обедня в Смольном соборе. Пополнив наш состав несколькими опытными певцами, он рискнул выступить, и хор наш понравился. С этого времени вся обстановка работы хора резко изменилась. Из центра города мы были переброшены за город. Смольный собор – это огромный роскошный храм, построенный по проекту знаменитого архитектора Растрелли. Собор построен в ограде, окружающей сад и полукруглый двухэтажный корпус, в котором размещался когда-то Институт высокоаристократических девиц. Архитектура самого корпуса и башенки на стенах, окружающих сад, были так красивы и слиты с самим собором, что можно было часами любоваться, вслушиваясь в особенную тишину и покой. Весь архитектурный ансамбль на большой, выложенной бульжником площади, окруженной на большом расстоянии одноэтажными и двухэтажными зданиями, представлялся гармоничным и особенно величественно смотрелся собор, его сжатое пятиглавие. В одной из глав помещалась колокольня, где виднелись колокола с громадным колоколом в середине, с необычайно красивым тембром звучания. Звон его расстилался над городом и величаво несся над Невой, струившей свои воды тут же под стенами соборной ограды. Внутри собора все было грандиозно, но не уютно. Величественные колонны и стены облицованы белым мрамором. Икон почти не было. Лестница, ведущая к алтарю, имела пятнадцать ступеней и разделялась надвое солидной хрустальной перегородкой. Иконостас чрезвычайной высоты и иконы на нем представляли целые групповые картины с фигурами людей, превышающими натуральную величину. Царские врата из вызолоченного дерева настолько большие и тяжелые, что дьякону приходилось, открывая их, оттащить за массивную скобу отдельно каждую их половину. Этот собор натопить в холодное время года почти не представляло возможности. Зимой голландские печи не в состоянии были бороться с холодом, поэтому в храме было холодно и угарно. Минусом собора была и его акустика. Из-за его сказочного резонанса никаких гармонических и мелодических художественных эффектов в подвижном темпе достичь было невозможно – все гудело и мешалось, а

о передаче текста и речи быть не могло. Весьма возможно, что именно этот резонанс и способствовал нашему убогому хору успешно пройти пробу и довольно долго продержаться в нем.

Вот в таких условиях началась моя работа на новом месте – в Смольном соборе. А путь от дома, то есть от Мариинской больницы был далекий. Долго-долго надо было тащиться на конке. Летом было сносно, а в хорошую погоду даже приятно наверху вагона на открытом воздухе, но зимой было тяжело в холодном вагоне: замерзали ноги. И, так как галош у меня не было, я выбивал ногами дробь в унисон с кондуктором, продрогшим, как и я. Особенную досаду вызывали частые остановки на каждом перекрестке, после которых кучер с большим трудом приводил в движение застоявшихся и промерзших на остановке лошадей. А приедешь в собор – там тоже холодно, да еще и угар от печей. Но я втягивался, привыкал и научился терпеть лишения.

Незадолго до перехода в Смольный собор нас с матерью перевели в полуподвальное помещение главного корпуса, но тут было преимущество в том, что теперь у нас была отдельная комната, представлявшая ранее входную кухню, где теперь никто не готовил, а остальные жильцы размещались в соседней общей комнате. Теперь я уже не помню, как мы тогда питались, помню лишь часто повторявшуюся фразу матери: «Павлуша! Хочешь покушать? Сделать тебе яишенку?». Сама она ела, как мне помнится, мало, но всегда у нас бывало что-нибудь сладкое – мед, варенье, пирожное, но все это в минимальном количестве; покупалось на 7-8 копеек и растягивалось на два-три дня. Одевался я бедно, но всегда аккуратно, чисто и мать сама следила за этим и приучила навсегда меня к опрятному виду. Вспоминается случай, происшедший у нас в те трудные времена, когда я еще не мог помогать деньгами матери. Надо было сшить пальто для меня. Мать пожертвовала для этого свою тальму [женская длинная накидка без рукавов: нарядная изготавливалась из лёгкой ажурной ткани, а для холодной погоды – из драпа. – *Ред.*], распоров её на куски. Когда портной прикинул материал и сказал, что этого на пальто не хватит, горю нашему не было границ! С трудом подбирая и сшивая куски, мать сама сделала что-то, похожее на пальто. По этой части у нас было очень плохо. Да и с обувью получалось почти то же самое. Башмаки заказывались дешёвому сапожнику, и два раза подряд он ухитрялся обувь мне обузить. Мать по своей скромности не решалась возвратить негодную обувь, и я принужден был с болью натягивать ее и так разношивать.

Одно время так случалось, что я вместе с тремя мальчиками жил на квартире нашего регента около Соляного городка вблизи храма св. Пантелеймона. Место было тихое, симпатичное; квартира светлая, но нам отвели комнату полутемную, так что при занятиях даже днем приходилось зажигать керосиновую лампу. Переселение это было сделано, видимо, по инициативе нашего регента, задавшегося целью сделать из нас опытных певцов чрез систематические занятия сольфеджио. Сам он был крайне неопытен и методических приемов не знал вовсе, поэтому занятия не давали удовлетворения ни ему, ни нам.

Но сам я к этому времени начал интересоваться духовно-музыкальной литературой и стал переписывать то, что еще не выходило из печати, так же, как и уже изданные произведения. Условия такой новой жизни меня, конечно, не устраивали, и это выливалось в слезах при встрече с любимой матерью после богослужений. В конце концов, я опять возвратился к матери и жил с ней до перехода в хор Казанского собора.

Теперь меня, как опытного певца, приглашали в разные хоры Петербурга. Организовался хор в Троицком подворье, где мы с матерью когда-то отстаивали большие службы, за которые я получал от нее пироги с вареньем. Во главе этого хора стоял Сафонов – прекрасный регент; он ждал меня, но я почему-то тогда не перешел. Вскоре мне предложили поступить в хор церкви при почтамте, гарантируя при этом службу в самом почтамте в случае утраты голоса, что меня с матерью всегда тревожило и имело жизненное значение, но я и сюда не поступил. Мне было тяжело расстаться с моим регентом и я придумывал всякие причины, чтобы не принять новые предложения, ссылаясь на начавшийся перелом голоса. Регент почтамтского хора – Никольский был интеллигентный, энергичный, он увлек меня домой к себе, вручил мне ноты задостойника [песнопение, которое поётся в составе евхаристического канона вместо песни «Достойно есть». – *Ред.*], а сам отошел к

фисгармонии и начал играть почему-то тоном ниже написанного, что я ощутил сразу по собственному голосу и сказал ему: «Вы играете ниже!»; он почему-то смутился, покраснел, но ничего не ответил. В итоге переход мой к нему в хор не состоялся. Позднее, встретив меня в компании певцов, он весело обратился ко мне при всех: «А! Гусь! Гусь!» – видимо вспомнив неловкую сцену с транспозицией. И так, несмотря на все заманчивые предложения, я продолжал верно и честно работать у своего неопытного, но доброго регента.

[...] В рождественские каникулы – Святки – и на Масляной неделе на Марсовом поле устраивались гуляния для простого народа. Колоссальный квадратной формы участок, предназначенный специально для военных парадов и смотров, был оставлен не застроенным [...], и назывался Марсовым полем. Ограничен он был с одной из сторон двухэтажным длинным военным корпусом, а с другой – Летним садом, неподалеку от Инженерного замка, в виду церкви св. Пантелеймона. Вся эта большая площадь застраивалась деревянными дощатыми балаганами, два из которых были большими и выходили к Летнему саду, а остальные – мелкие – шли во второй линии. Кроме этих построек всюду были разбросаны карусели, перекидные качели, американские горки и прочие аттракционы. На [...] свободных от построек площадках стояли под открытым небом столы, окруженные скамьями. На столах пытели и фыркали самовары необычайной величины, заманивая своим теплом промерзшую публику согреться горячим сбитнем – смесью из патоки и с цветом крепкого чая. Тут были горячие сосиски, начиненные подозрительным содержимым, были и пышки на постном масле. Все это манило запахами, паром и теплом.

Знаменитый «балаганный дед» был обязательной принадлежностью таких народных увеселений. Находился он обыкновенно на специально устраиваемом балконе четырехугольного двухэтажного возвышения, выкрашенного в зеленый цвет с нарисованными фигурами. Внутри такого помещения вертелись карусели. Такой Дед нанимался на целую неделю. Приладив на лицо бороду из белых конских волос, надев такой же парик на голову, облаченный в серый армяк и лапти, он садился на широкие перила балкона лицом к проходящей мимо или толпящейся под балконом публике и своими забавами смешил нетребовательных слушателей. А для разнообразия тут же плясал или показывал незатейливые фокусы. Все кругом вертелось, крутилось, свистело, звенело и стучало. Среди этого хаотического шума жалко гнусавила шарманка, гармошка или какой-нибудь другой музыкальный инструмент. Народ с утра густо заполнял площадь, щёлкая семечки и грызя орехи, с удовольствием отзываясь, на всякую пустую шутку [яркой иллюстрацией к описываемому может служить картина К.Маковского «Народное гуляние во время Масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге». – *Ред.*].

В небольших балаганах показывались самые преглупые вещи, лишь бы только побольше пропустить зрителей и выудить побольше денег. Владельцы таких балаганов перед началом представлений загоняли артистов [...] на наружный открытый балкон для заманивания публики [...] Тут уж не считались с погодой, с температурой воздуха, доходившей зимой до 10 градусов, а в иной день и больше, мороза. Праздная, доверчивая публика охотно шла на приманку, ожидая чего-то интересного. Однако, обманутая и разочарованная, громко бранилась и, расходясь, грозила прислать сюда полицию.

Но, судя по всему, большие балаганы публику устраивали. Первый из них принадлежал Малофееву, второй – Лейферту [...]. Оба владельца из года в год конкурировали между собой. Первый ставил пьесы преимущественно патриотического содержания, второй – художественно-фантастического. В афишах первого значилось: «Русские Орлы на Кавказе», «Суворов» и т.п., у второго – «Майская ночь», «Винокур» и т.п. Большой балаган вмещал до тысячи зрителей, меблирован был креслами, расположенными амфитеатром и видимость отовсюду была хорошая, но в зависимости от того, в котором ряду было место, цены соответственно менялись: первый ряд стоил 1 рубль, второй – 75 копеек, третий – 50-40 и т.д.

Такая легкая, просторная деревянная постройка, разумеется, не отапливалась, и [...] театр согревался туго набивавшейся в него публикой. Представление продолжалось около часа, и пока

шла пьеса, новая публика постепенно наполняла вестибюль. И так в течение дня непрерывно вращалось это многолюдное колесо.

Наша армия мальчишек ухитрялась проскочить в театр бесплатно. Делалось это так: когда после сеанса публика спускалась по лестнице внутри театра к выходу, мы, наоборот, поднимались по стенке вверх ей навстречу. И в то время, как двери за уходящими закрывались, надо было успеть проскользнуть в зал, так как в это время открывались двери с противоположной стороны зрительного зала для впуска нового потока зрителей. В такой тесноте и сутолоке контроль был не возможен и места не были нумерованы. Тут каждый действовал сообразно своей ловкости и быстроте. Иногда и не удавалось проскочить. Но, как правило, каждый из нас видел в этих театрах все спектакли и не по одному разу, составив о каждой пьесе свое мнение.

Такие спектакли, конечно, сыграли положительную роль в нашем художественном развитии. Сцена делалась большая, декорации и световые эффекты были достаточно художественно выполнены, да и музыка скромного оркестра способствовала общему художественному впечатлению. Зритель таких спектаклей был более требователен и его не мог удовлетворить обычный балаганный шум маленьких предприятий, сюда заходили и мелкие чиновники с семьями. Петербургская же аристократия медленно и чинно прокатывалась в блестящих экипажах мимо, несколько поодаль и разглядывала, как веселится простой народ.

Масляную неделю Петербурга очень украшал и оживлял большой наплыв приезжих извозчиков – финнов, которых здесь называли чухонцами. Они, конечно, отбивали публику у местных извозчиков. Сами они были малорослые, бритые, светловолосые крестьяне, с неизменной трубкой в зубах, со своими маленькими лошадками, запряженными в крохотные, изящные саночки, с разукрашенными разноцветными лоскутками сбруями, звеневшими многочисленными бубенчиками. Они доставляли много удовольствия петербуржцам ездой и много неудовольствия своим конкурентам – извозчикам [...], отбивая у них заработок. Совершенно не зная города и едва владея русской речью, они много теряли материально. Куда бы их не нанимали, они называли только одну плату: «вадцать копеек». Седок, конечно, садился, удивляясь дешевизне. А то везет, везет, и, видя, что долго едет, обращается к седоку: «Слезай!» И седоку приходится вновь договариваться опять за «вадцать копеек». Часто их обманывали: останавливая у проходных ворот, бесследно исчезали, заставляя долго ждать доверчивого «вейку-чухну» понапрасну. В последние годы уходящего столетия их не стало. Организаторы артелей извозчиков и владельцы извозных дворов, попадавшие в члены Городской думы, постарались избавить город от [...] невыгодных им гостей-конкурентов. Эти «отцы города», преимущественно купцы, различные содержатели, владельцы и т.д. повсюду в стране приносили интересы общества в жертву собственной выгоде. Тогда все видели, все знали, что, например, трамвайное движение значительно позже начало действовать в Петербурге, чем в Киеве или в других городах России. Объяснялось все это общественности тем, что-де договор с обществом конного транспорта еще не истек. На самом же деле и здесь играли роль интересы лиц, связанных материально с конным транспортом.

Петербург богат своими загородными островами, на которых разместились постройки дачного характера. Острова эти покрыты сосновыми и березовыми лесами, кустарниками и сочными травами. Присутствие большого количества воды сохраняло у растительности даже в знойный летний период свежую окраску, а чистота и благоустройство дорог производили приятное впечатление. Здесь находились увеселительные предприятия: «Аркадия», «Ливадия», «Помпея» – это сады-рестораны, театры, отгороженные заборами. Сюда вечером стекались петербуржцы подышать свежим воздухом, полюбоваться зеленью, водными просторами. Сюда приезжали купчики скромно покутить. Главное удовольствие заключалось в переживании белых ночей, когда солнце едва успевало скрыться за горизонтом, а рядом уже загоралась заря нового дня. Все это как-то особенно действовало на человека, навевая задумчивость. Сюда-то я и повадился ездить. Сообщение было дешевое – стоило конкой 6 копеек. Проедешься по Петербургу, переедешь Неву,

далее – по Каменноостровскому проспекту с его по преимуществу маленькими деревянными домами в зелени. Проехав деревянные мосты Большой и Малой Невки, въезжаем в это зелено-водное царство. В детстве я пользовался у матери полной свободой и доверием. Она, видимо, крепко полагалась на одной ей ведомую охрану. Отправляясь из дому куда-нибудь, я ее целовал, она же, крестя меня, говорила на дорогу: «Матерьня молитва на воде не тонет и на огне не горит». Взяв у нее 20 копеек, я к вечеру отправлялся на конке в эти места, но плата за вход 50-75 копеек! Тут приходилось припоминать способы, практиковавшиеся нами на балаганах и применительно к сегодняшней ситуации их варьировать. В сад вели два входа: один – платный, для публики; другой – черный (ворота к ресторанной кухне). Вот тут-то надо было взять на себя роль своего человека: свободно и твердо идти мимо служащих, как бы не обращая ни на кого внимания, не глядя ни на кого; тогда и они все не замечали меня. Пройдя это испытание, я попадал в волшебный для меня мир. Прекрасный сад, нарядно одетая гуляющая публика, красивая музыка, а над всем этим – синее небо, плывущие в нем облака, освещенные золотисто-розовыми лучами заходящего солнца.

Открытая сцена! Чего только там не было: пение хора и солистов, рассказчики, жонглеры, бросающие горящие керосиновые лампы и тут же на лету их подхватывающие, и многое, многое другое. Но главное – музыкальные клоуны, которые своей своеобразной музыкой и шутками совсем заполнили мое детское сердце. Их было двое: Родон и его помощник Адольф. Костюмы у них были роскошные и разнообразные. Выступая каждый день, они ухитрялись как-то не повторяться. Музыкальных инструментов у них было много: высокого качества гитары, мандолины, фаготы, окарины [ocarina (итал. – гусёнок), род свистковой сосудообразной флейты, по форме напоминающей гусиную голову. – *Ред.*]. Особенно – стаканы, издававшие чарующие звуки при проведении пальцами по их краю; бутылки и даже щетки с натянутыми на них струнами. И все это красиво звучало в их мастерских руках, в их стройном дуэте.

Моя работа в Смольном соборе шла довольно успешно. Я там считался «Ивановым-старшим», несмотря на мои малые годы. Тембра своего голоса я не помню, но диапазон был довольно большой, так как я совершенно свободно справлялся с арией Вани из оперы Глинки¹ «Жизнь за царя» – «Бедный конь в поле пал». Пел я ее со всеми движениями, с игрой, чему научил меня случайно заходивший к нам певец – военный фельдшер. В хоре собора появились новые певцы – военные фельдшеры из Николаевского военного госпиталя, находившегося вблизи Смольного собора. В этом госпитале умер М.П.Мусоргский. Эти певцы производили очень приятное впечатление и по своей внешности и по своему воспитанию; я же особенно пользовался их симпатией и вниманием, и они приглашали меня к себе на квартиру. Они впервые подали мне мысль искать какую-то серьезную дорогу в жизни, так как считали, что моя работа в хоре Смольного собора не имеет практических перспектив для моего будущего, давая только временный заработок. Советовали попытаться устроиться в Придворную капеллу, куда попасть было очень трудно. Особенно настаивал на этом наш певец Золотарев, выделявшийся из всего окружения своей интеллигентностью. Он постарался разузнать время и условия приема в капеллу.

Мы с матерью отправились туда вместе. Комната, куда мы вошли, была полна детьми с родителями. Для меня сразу стало ясно, что принят я не буду. Во-первых, потому, что конкурентов оказалось очень много, а во-вторых, мои года превышали предельный для приема возраст. И, действительно, едва мы вошли, как появившийся в дверях Балакирев сразу выразил удивление по поводу многочисленности желающих поступить и тут же объявил, что дети старше 10 лет приняты быть не могут. Мне же было уже двенадцать лет. Мать могла бы обратить внимание Балакирева на

¹ Отсюда и далее в тексте «Автобиографических записок» постоянно будут встречаться известнейшие фамилии русских и зарубежных исполнителей, композиторов и музыкальных деятелей XIX-XX веков, основные сведения о которых можно найти в любом солидном музыкальном справочном издании. Отсылая читателя к справочной литературе [30,31], редактор-составитель вместе с тем счёл необходимым дать (в редакторских квадратных скобках) минимальные справки о тех музыкантах, имена которых, думается, известны преимущественно в узкопрофессиональных кругах.

мою подготовку, на то, что я немного владею скрипкой и т.д. Но мать была женщина скромная, видимо оробела, не решаясь вступать в разговор при таком стечении незнакомых людей, и я опять остался у своего Георгия Ивановича, человека очень мягкого, доброго. Никогда я не слышал от него грубого слова или резкого выражения. Таков он был и со всеми. Если что-нибудь его возмущало или сердило, он только краснел и пристально смотрел вверх своих очков[...].

Не знаю, кем стал бы я впоследствии в силу сложившихся в то время жизненных условий. Вернее всего предположить, что я сделался бы помощником у своего малограмотного регента. Но тут в нашу жизнь вошло новое, совершенно постороннее лицо.

Отрочество

Однажды мы с матерью были дома вдвоем. Не помню, чем я был в это время занят, мать же чинила белье для больницы, разложенное тут же на сундуке перед столом. Внезапно открывается дверь, и в комнату входит незнакомый молодой господин, с чуть пробивающейся бородкой, в светлом клетчатом пальто и с фуражкой студента в руке. Долго стоял, с улыбкой смотря на меня, а затем, обращаясь к матери, сказал: «Я – регент Казанского собора и пришел предложить вам взять вашего сына к себе в хор». Мать предложила ему сесть на сундук, отодвинув белье в сторону. Он скромно присел на кончик сундука, все время поглядывая на меня. Меня же он сразу как-то подкупил: его скромное обхождение и улыбающиеся глаза вызвали во мне симпатию к нему. Он продолжал сообщать условия жизни мальчиков его хора, рисуя картину в возможно более привлекательных красках. Мать отвечала, что неудобно брать сына от Георгия Ивановича, который так много сделал для нас и в будущем подготовит из меня регента. Василий Александрович (так звали нашего нового знакомого) ответил, что он дает слово сделать из меня регента. Не знаю почему, но у меня из глаз начали падать крупные слезы, и Василий Александрович сказал матери: «Подставьте ему ведро!» Что вызвало эти слезы? Предстоящая разлука с матерью, или жаль мне было своего доброго регента Георгия Ивановича, которому без меня будет тяжело, – не знаю, должно быть, и то, и другое. Вся сцена закончилась тем, что Василий Александрович предложил мне отправиться с ним и посмотреть, как живут в общежитии мальчики. Я согласился, и мы вышли из дому.

Был уже вечер, и улицы освещались фонарями. Когда мы, поднявшись на четвертый этаж, вошли в освещенную комнату, нам навстречу вышел почтенного вида господин, – отец Василия Александровича и главный руководитель хора Казанского собора? Узнав, что мне уже двенадцать лет, он нахмурился. Тут дали мне пропеть несколько звуков, и затем Василий Александрович повел меня узким коридором в помещение для мальчиков. Помещались мальчики в двух спальнях и большой комнате, служившей и классом, и столовой, и залом для общих репетиций-спевков. Здесь мне понравилось все: и чистота, и кровати со столиками, и вообще вся обстановка: мальчики сидели за столиками, занимаясь каждый своим делом, и с острым любопытством осматривали меня!

Итак, вопрос был решен – я поступаю в хор Казанского собора. Но предстояло как-то попрощаться с Георгием Ивановичем, что для меня оказалось задачей чрезвычайно тяжелой. Случилось это так: в ближайшие дни назначена была у него спевка. Перед самым ее началом я, войдя в прихожую квартиры Георгия Ивановича, когда уже смеркалось, а он в зале, стоя на стуле, поправлял висячую керосиновую лампу, оказался окруженным группой собравшихся на спевку мальчиков. Тут, с трудом подавляя в себе робость, я сдавленным голосом произнес: «Георгий Иванович! Я ухожу от Вас!» Он не разобрал моих слов и, поправляя лампу, переспросил: «Что такое?» Я молчал, окончательно потерянный. Тогда мальчики пришли мне на помощь и хором заговорили: «Он уходит от нас!» Я как ошпаренный выскочил на улицу и больше Георгия Ивановича не видел. Слышал, что репетиция эта прошла в тяжелой обстановке, без меня альтовая партия все время сбивалась, а регент впервые, кажется, пустил в ход свои кулаки. Позже говорили,

что он плакал, обвиняя моего нового регента в бесчестном поступке, в переманивании. Через три дня я поселился в общежитии мальчиков на Казанской улице в квартире А.С.Фатева.

Здесь всё мне нравилось: чистота, порядок, точность в расписании дня – это именно то, в чем нуждалось мое существо подростка. В 8 часов утра по звонку пили чай с полубелым хлебом. В 9 часов начинались занятия по грамоте. Было три урока. В час дня – обед из трех блюд: в понедельник щи с мясом, каша с маслом или молоко; вторник – суп, пшенная молочная каша; среда – винегрет, уха и олады; четверг – постный суп, печенка с макаронами; пятница – постный суп и макароны с постным маслом, суббота – щи и каша с молоком; воскресенье – суп, котлеты и пирог с мясом. После обеда до четырех часов – отдых и прогулка. С четырех часов – чай и приготовление уроков. В 6 часов – репетиция, а если ее нет, то занимались чтением, рисованием, тихими играми. В 8 часов – ужин из двух блюд, и в 9 часов ложились спать. Общий тон жизни мальчиков был тихий, спокойный, ссор и драк почти не бывало. За нами присматривал «дядька» почтенного возраста, человек из простых, но грамотный, прошедший, видимо, суровую жизненную школу.

[...] Из общего числа мальчиков только некоторые выделялись своими положительными или отрицательными качествами, большинство же были совершенно бесцветны. Хороших голосов тоже не было. Исключением был Туссин – мальчик моих лет с лицом негритоса и выразительными глазами, с темпераментом огненным и злой до озверения. У него-то и оказался довольно крепкий и звучный альт. Он с первого моего появления здесь увидел во мне соперника и любимца Василия Александровича, расположения которого он заметно искал. Мое преимущество мне обошлось дорого, и мне приходилось переживать тяжелые моменты, но я был уже закален и в подобных обстоятельствах умел ориентироваться. Старшие по возрасту мальчики занимались своей внешностью, имели зеркало, фиксатуар, щетку для волос. Одевали нас прилично: в обычные дни мы носили повседневное свое платье, но для торжественных случаев и в праздничные дни надевали выходные черные суконные австрийские – как тогда называли – куртки и брюки, черную суконную фуражку и черную, ладно сшитую, шинель с капюшоном. Летом на нас были одеты легкие, хорошо сшитые, костюмы. Белье менялось еженедельно, и также – раз в неделю мы ходили в баню с бассейном для плавания.

Занимались с нами две учительницы: одна с младшей группой, другая со старшими. Я хоть и имел кое-какую подготовку, все же нуждался в систематизации знаний, и потому начал занятия здесь с младшей группой. В этой группе учительница оказалась с институтским образованием, но бесхарактерная и флегматичная. Она не умела вызвать в нас интерес к занятиям, и учились мы у нее с какой-то неохотой. В старшей группе была учительница с высших курсов, и дело здесь шло лучше. Когда я перешел в эту группу, ее уже не было. Кроме этих двух преподавательниц, с нами приходила заниматься дочь настоятеля Казанского собора – Екатерина Александровна [Лебедева. – *Ред.*]. Учила она нас Закону Божьему. Эта особа в моей жизни сыграла решающую роль. Она была высокого роста, слегка полная, с гладкими и черными, как смоль, волосами и очень некрасивым мясистым лицом; но ее лицо украшали выразительные глаза. Одевалась она сверх всякой меры просто, несмотря на то, что была дочерью родителя со средствами. Мы перед ней благоговели и уроки готовили исправно. Она не была замужем, хотя лет ей было уже немало. Свои уроки она проводила вдохновенно, вкладывая в них всю душу. Объяснения ее всегда были понятны, а главное – это ее вера, ее любовь к людям и жизни! Это поражало нас, не привыкших слышать от других ничего подобного. В конце каждого урока мы читали Евангелие и Послания Апостолов с обстоятельными разъяснениями Екатерины Александровны. Иногда касались вопросов, выходящих из пределов нашего раннего юношеского возраста, но она с присущим ей тактом всегда умела весь разговор облекать в особую чистую, святую форму. Уроки эти явились нашим настоящим воспитанием: это был фундамент, на котором мы строили впоследствии хорошее в жизни.

Мне суждено было много лет спустя незадолго до ее смерти, в течение нескольких лет поддерживать ее материально, а в голодные годы основательно помогать ей. Но все это – ничто в сравнении с тем, что она дала нам духовно! Нисколько не удивительно, что мы чувствовали ее необычайную духовную силу. Она была большой философ, богослов и помогала своему отцу в

работе над богословским трудом[...]. Кроме того, она была еще и поэтесса, занималась переводами таких немецких текстов, как текст [либретто. – *Ped.*] оперы Вагнера «Гангейзер» и др. Но все, что она делала и говорила, у нее было проникнуто глубоко христианским духом, и, вероятно, поэтому в наших глазах все окружающие ее лица и те, кто окружал нас, включая и священнослужителей, бледнели перед ее обликом.

Наш руководитель – Александр Семенович Фатеев – жил рядом с нами, но мы его видели редко, он нас не посещал. Репетиций почти не бывало, репертуар наш не обновлялся; а часто случалось так: начинается литургия, мы стоим на клиросе, и тут же происходит разговор, тихий, незаметный для окружающих, разговор между регентом и мальчиком, заведующим нотами, какого автора произведение сейчас будем петь! Священники и прихожане не были требовательны; тогда новое направление в церковном пении еще только едва намечалось в произведениях Чайковского и встречено было весьма недоброжелательно. Архангельский успел написать к этому времени достаточное количество духовных произведений для хора, но исполнялись они только его хором в домовых церквях. Широкого слушателя знакомил он с ними в концертах зала Кредитного общества и Городской Думы. В Казанском соборе каждый священник имел свой вкус в церковном пении, и с ним приходилось считаться регенту нашего хора. Настоятель собора [А.Лебедев. – *Ped.*] любил попроще; Стефанович любил поконцертнее; Цветков – поскорее; Головин – обязательно «Херувимскую» Бортнянского №7, а Соколов – поумилительнее.

Почти каждую субботу службу посещал Победоносцев [Константин Павлович, обер-прокурор Святейшего Синода в период 1880–1905 гг. – *Ped.*], стоял в глубине собора с народом и всегда на одном и том же определенном месте у колонны. При случайном разговоре с нашим регентом он однажды как-то сказал: «По вашему репертуару можно угадать, какой священник служит обедню!» Несмотря на слабую художественную нашу работу, все же наше пение было вполне удовлетворительное, вполне приемлемое, главное же – особенно молитвенное. Александр Семенович умело подбирал песнопения своего скудного репертуара, и все же, видимо, посещавшие собор были все довольны. Сам он был строго религиозен. Его представительная фигура, выразительное, серьезное лицо, обрамленное большой бородой, внушали каждому почтение. Он редко улыбался и еще реже смеялся; одного его взгляда на нас было достаточно, чтобы все приходило в порядок. Мы его не могли любить; у нас было какое-то особое чувство к нему. Вскоре после моего вступления в этот хор ему пришлось убедиться в достоинствах моего голоса. Пели в этот раз запричастным стихом «О Тебе радуется» Бортнянского. В нем есть трудное для альтов место в соло, которое пели все мальчики вместе: «И человеческий род...» На слоге «ве» – высокое РЕ под фермой. Когда сопрано и альты внезапно умолкли, испугавшись трудной ноты, я же не остановился и один делаю скачок на РЕ, филирую, приводя в изумление Александра Семеновича и всех взрослых певцов. Какое замечание получили мои товарищи от регента, я теперь не помню, помню только фразу, не раз повторявшуюся им впоследствии: «Все вы – бездарны, один только с даром!» Один взрослый певец был в восторге от этого случая со мной и в ближайшую службу, подозревая меня, начал копаться в своем кошельке. Мои товарищи окружили нас, ожидая от него большой награды для меня, но когда он сунул мне какую-то монету – не то пятак, не то гривенник, послышались иронические голоса: «Вот-так отвалил!» Но для меня один только самый факт награды был уже лестным, мое самолюбие было удовлетворено.

Вторичное мое выступление позднее, в роли исполтчика [славильщик, восклицатель (от старинного междометия *исполать!*) – во время богослужений исполтчик обычно провозглашает: «Слава Тебе, Боже!», «Аллилуйя!» и т.п. – *Ped.*], оказалось крайне неудачным. В трио есть нота ДО, которую альты поют в первой октаве. Но при желании ее можно исполнять и выше октавой. Однако этого у нас не полагалось. Перед исполнением мои товарищи по партии, в особенности «благожелательный» Туссин подбивали меня непременно взять это высокое ДО, а я в последний момент на это и решился. Звук получился некрасивого тембра, и это явилось наказанием для меня за мое преступление. Сам Александр Семенович ограничился тем, что при раздаче награждения

солистам, давая мне деньги, сказал: «Неудачно взял ДО». Он прекрасно учитывал, что моя работа в его хоре приносит пользу всему хору: у меня было и знание репертуара, и голос мой был еще в то время достаточно свеж.

Собор большой, светлый, с хорошей акустикой. По воскресеньям и в праздничные дни народу бывало до тесноты много. В субботу вечернее богослужение происходило при скудном освещении свечами и лампадами. Электричества тогда еще не было. В особо торжественные праздники центральная люстра – паникадило с большим количеством свеч – зажигалась при помощи пороховой нити или длинной палки с горящим фитилем на конце; такой палкой пользовался церковный сторож, облеченный в мундир, степенно и медленно зажигая свечу за свечой. Священники собора держались важно, но благоговейно, благопристойно. Каждый из них, пяти, представлял собою особенный тип. Настоятель собора – отец нашей учительницы Екатерины Александровны – был высок ростом, с громадной густой бородой, которая к концу суживалась и оканчивалась двумя-тремя волосками. Лицо его было такое же, как у дочери, только глаза были бесцветные. К нам относился отечески серьезно.

Второй священник – Стефанович – был весь как лунь седой, с тонким и вспльчивым характером. Мне однажды пришлось в этом убедиться: у нас, мальчиков, была традиция – в день именин кого-нибудь из нас именинник обходил квартиры некоторых священнослужителей и, войдя через черный вход в кухню, просил кухарку доложить батюшке, что именинник пришел. Священник выходил и благословлял именинника, дарил ему 20-30 копеек на гостинец. По установившемуся обычаю и я пришел к Стефановичу, и когда кухарка вышла в комнаты и доложила батюшке о моем приходе, я услышал из отдаленной комнаты злой громкий голос: «Гони его вон!» Я, конечно, не стал ждать выполнения такого распоряжения батюшки и быстро ретировался. А вечером того же дня, когда мы парами проходили через алтарь, он, подойдя ко мне, ласково сказал: «Ну, кто тут из вас сегодня именинник?» – и дал мне в руки традиционный гостинец.

Третий священник – Цветков – доктор Богословия, был среднего роста, старичок с золотыми очками, с плоским лицом и большим, мясистым и приплюснутым носом, всегда выглядевшим у него отмороженным. У него был гнусавый голос и полное отсутствие музыкального слуха. В общем пении он помалкивал, но когда ему по необходимости приходилось петь с диаконом, он бороздил своим гнусавым голосом поперек, смущая всех, а некоторых принуждал смущенно улыбаться. Однажды на Пасхе при пении «Христос Воскресе» диакон, давясь смехом, не смог далее продолжать петь с ним, и отцу Павлу пришлось одному дотягивать до конца собственным распевом. Он всегда благосклонно относился к нам и, останавливая нас, рассказывал нам что-нибудь из жизни древних греков или римлян или разъяснял что-нибудь из Богословия. В этом его доброе сердце находило проявление во вне. Раз встретив мою будущую жену [Е.А.Фатеева. – *Ред.*] около собора, когда она была еще совсем юной, он спросил ее: «Куда идете?» «В церковь, батюшка», – отвечала она. «В церковь ходят те, кому делать больше нечего!» – закончил он беседу! Это был будничнейший день, и он был, конечно, прав, так как будни предназначены для работы. Однако в то же время слова его раскрывают психологию того состава священников, которые смотрели на религию сквозь очки бюрократизма, то есть жить надо по расписанию, а не по потребности духа. Однажды за молебном ему подали записку помянуть в числе других «странника Василия». Он тут же обернулся к подавшему и своим гнусавым голосом во всеулышание громко сказал: «Странников нет! Есть бродяги!» – забыв, вероятно, в эту минуту об издревле существовавшем на Великой Святой Руси освященном традицией институте странников и подвижников.

Четвертый священник – Головин – был благообразнее и интеллигентнее всех своих сослуживцев, всегда ровный и спокойный. Он никогда не ходил пешком, даже на малое расстояние брал извозчика.

Пятый священник – Соколов. Маленького роста, средних лет, с красивым лицом, но с оголенным черепом. Он имел огненный темперамент и в проповедях своих, и в обращении с окружающими был чрезмерно резок. Он даже покрикивал на высокопоставленных дам, решавших в

перчатках подходить к иконе. Ему принадлежит в числе немногих инициатива создания «Общества религиозного просвещения в духе Православной Церкви». Эта организация избранного Петербургского священства задалась целью поднять дух нашего народа. Они успели для Петербурга сделать довольно много, но на провинциальные города и в села это движение распространиться так и не успело.

Кроме названных священников, в Казанском соборе в те времена было еще два диакона: Чернышев – высокий, сухой старик с твердым, металлическим голосом и Тимонов – совершенно безголосый, с голосом вроде баритона или третьего тенора. У этого были необычайно пышные волосы, превращавшие его в карикатуру. При этом он ухитрялся так раскрывать свой рот, что дети, стоявшие рядом, взвизгивали от испуга. Ну, конечно, скажет читатель – это анекдот! Увы! Хочется задать вопрос: как такой диакон мог служить в Казанском соборе, где почти на каждой службе присутствовал Победоносцев – наставник и руководитель царя Александра III и его сына Николая II, у которого Победоносцев был правой рукой в первые годы его царствования! Этот вельможа всегда стоял службу в центре у колонны, никем не замечаемый, кроме служащих собора, никогда ни во что не вмешивался по части богослужения.

По традиции священнослужитель, имевший дочь на выданье, сам приискивал себе будущего зятя, подготавливая в нем и своего будущего заместителя, иногда не совсем подходившего к месту. Люди того времени были более снисходительными к различного рода недостаткам и не усложняли жизнь такого рода претензиями и мелочами.

Состав псаломщиков набирался из взрослых певцов. Это был особый круг людей, очень прилично одетых и производивших хорошее впечатление своими манерами, воспитанными и выработанными в постоянном общении с большим числом избранной публики, наполнявшей наряду с массой народа центральный храм столицы – Казанский собор. Никогда никаких ссор и инцидентов, нарушавших благочиние в соборе, не происходило, все было чинно, благоговейно. Позднее я узнал, что между Стефановичем и настоятелем собора были трения, но это происходило тайно от всех и скрытно от окружающих.

Во главе хозяйственной части собора стоял староста: граф Гейден. Это был блондин невысокого роста, с редкой бородкой, средних лет, в форме полковника кавалергардского полка, лицо, очень близкое государю. Все существо его было пронизано какой-то небесной добротой, движения его были мягки и изящны, как-то особенно на нас действовали. Во время акафиста он иногда читал канон, находясь на клиросе около нас, а кто-нибудь из нас, стоящих рядом с ним, по рассеянности держал руку в кармане; заметив это, он вспыхивал, выдергивал руку из кармана провинившегося, не говоря ему ни слова. Но мы ничуть не обижались на него, объясняя себе это как святой порыв.

Технически обслуживали собор 15-20 сторожей, одетых в суконные темные брюки и такие же сюртуки со стоячим красным воротником и с желтыми медными пуговицами. В соборе всегда было чисто и тепло, даже в зимнее время. Архитектура собора, созданная Ворониным, была выражением Александровской эпохи. В нем не было блеска и света Смольного, но было уютнее. Весь он наполнен рядами красивых отшлифованных колонн. Особенно красив алтарь с двойным светом. Это был любимый собор петербургских митрополитов, и они, обходя своим вниманием темный кафедральный Исаакиевский собор, в торжественные и праздничные дни служили в Казанском.

Особенно внушительная картина представлялась присутствующим, когда три митрополита и несколько архиереев стояли в линию посреди Храма на возвышении, а перпендикулярно к ним стояли в два ряда сорок петербургских священников и все в одинаковом золотом облачении. Все это группировалось около петербургской святыни – иконы Казанской Божьей Матери, помещенной в иконостасе. К ней вели три ступени двусторонней лестницы. Весь иконостас и решетки перед ним были чистого серебра, пожертвованного казаками, отбившими это серебро у отступающих французов в зиму 1812г. Сам собор посвящен памяти Победы над французами в двенадцатом году. Внутри собора по стенам и колоннам виднелись потемневшие от времени знамена французских

войск, и тут же находился жезл маршала Даву – все это трофеи победы. В соборе же и место погребения победителя Наполеона – фельдмаршала Кутузова.

Икона Казанской Божьей Матери сияла золотой ризой и была унизана бриллиантами всевозможной величины. Перед нею стояли большие подсвечники и всегда с горящими свечами, так как собор бывал открыт с утра и до вечера для проходящих мимо и заходящих в собор, чтобы поклониться Святыне. Внешне собор напоминает Храм св. Петра в Риме и колоннадой, и всегда был замечательным украшением Петербурга, гармонируя со всеми художественными постройками двух смежных эпох – Александровской и Николаевской. Вся эта обстановка, конечно, впечатляюще воздействовала на меня, подростка, а новые лица, появившиеся в моей жизни, в большинстве люди высокой нравственности, благотворно действовали на мою юную психику.

Мои занятия по музыке в этот период приобретают систематический характер. На скрипке я занимался самостоятельно по школе Берио [Шарль (1802-1870) – бельгийский скрипач, композитор и педагог, в 1843-52гг. – профессор Брюссельской консерватории. Муж выдающейся певицы Марии Малибран. – *Ред.*], оставаясь дома в часы прогулок моих товарищей. По теории музыки Василий Александрович подобрал группу мальчиков и по вечерам занимался с нами по учебнику Спасской. Он редко появлялся у нас, проводя много времени в Консерватории, где учился у Иогансена и Римского-Корсакова. Иногда он проводил спевки, подготавливая наш смешанный состав к выступлению в соборе с каким-нибудь ответственным произведением причастного стиха, которым он сам дирижировал. По фортепьяно со мной занималась его сестра Ольга Александровна. В нашей большой комнате стояло фортепьяно, на котором никто не играл, хотя оно вполне было пригодно для занятий. Не помню, как и когда я успевал приготовить уроки по роялю, но хорошо помню свои сдачи уроков на пианино Ольги Александровны у нее в комнате, прилегающей стеной к нашей большой спальне. Спустя 40 лет после этого я вновь увидел этот инструмент и, припав к нему, как к святыне, поцеловал его; когда мои пальцы коснулись клавишей после такого длительного перерыва, знакомый тембр, звуки его напомнили мне мое далекое детство.

Свою мать я посещал каждый праздник и по средам. Приходил к ней к двум часам; проходил день, ночь, и к 9 часам утра я возвращался на занятия. Мать каждую праздничную службу проводила в соборе, устраиваясь так, чтобы меня видеть, и таким образом чувство родной близости не прерывалось.

Приходя к ней, я каждый раз встречался там с Онисимом, который жил со своей матерью в бывшем нашем помещении, со всеми женщинами. Ему было тогда лет 15-16, но мать его считала еще ребенком. С этим Онисимом мы вместе росли и учились, но я рано пошел зарабатывать, чтобы матери было легче, а он по окончании начальной школы отдался с увлечением чтению самой разнообразной литературы. Его попытка устроиться в хоре успеха не имела. Он был высок ростом, строен и красив лицом, брюнет с голубыми глазами. Но был очень близорук благодаря, вероятно, страшному увлечению чтением. Мы с ним были очень дружны и взаимно дополняли друг друга. Я его – художественно, он меня – своей начитанностью.

Обычно наши прогулки совершались по Невскому проспекту, иногда в холодное время мы заходили в Пассаж, беседуя о самых различных предметах художественного или жизненного характера. Рождественские и Масленичные гулянья мы проводили в Манеже около цирка. В нем было тепло и со вкусом все обставлено. Была там большая сцена, малая эстрада, павильоны и прочие обширные помещения. Все было залито лунным светом калильных фонарей; музыка раздавалась со всех сторон непрерывно, а искусственная и натуральная зелень создавала полную иллюзию зимнего сада.

В этот период нашей жизни у нас пробуждались первые проблески симпатии к нашим знакомым девушкам. Я познакомил Онисима с маленькой артисткой Катей Чаевой, которую я знал еще по театру Малофеева, где я с ней познакомился, когда она играла там

мальчика в пьесе «Русские орлы на Кавказе». Но знакомство это оказалось напрасным, т.к. ее после спектакля всегда провожал какой-то реалист.

Наши посещения Манежа давали нам те же переживания, какие я получал от прогулок на Островах, в садах и парках. Те же звуки оркестров, та же нарядно одетая толпа, такие же красивые линии и краски насыщали меня внутренне как маленького художника, и хорошо помню – никакие темные, отрицательные стороны окружавшей нас среды, если они и были здесь в избытке, то до нас не доходили. Сцена меня больше не привлекала, я смотрел спектакль как посторонний зритель, утратив профессиональный интерес. Прогулки по Невскому в зимнее время вечером мы совершали с удовольствием. Мягкий свет фонарей настолько хорошо освещал все кругом, что можно было отыскать упавшую на тротуар иголку, а густой падающий снег, при бесшумно проносящихся мимо санных экипажах, создавал нам внутренний покой и умиротворенное настроение. Нагулявшись досыта, мы, утомленные, возвращались домой, прощаясь до следующего вечера, до следующей встречи.

[...] Этажом ниже в их [Онисима. – *Ред.*] доме жила женщина-врач, у которой была дочь Эмма, как мне тогда казалось, внешне ничего интересного из себя не представлявшая [...]. Спустя некоторое время я подпал под чары этой девочки [...]. Она, видимо, мне симпатизировала и даже приняла посвященный ей марш, мною сочинённый. Как я мог написать тогда этот марш – не представляю. Написан он был грамотно, и Василий Александрович одобрил его и даже показывал его своему музыкальному приятелю Небольсину, который во второй части марша усмотрел сходство с Шопеном. Я за уроками арифметики и на других уроках писал трёх-четырёхголосные духовные сочинения, и некоторые из них оказались неплохими. Учительница косилась на это, но открыто не протестовала.

Летом нас отправили отдыхать на дачу в Новгородскую губернию, в Отенскую пустынь [первое название – Харитоновая Отня, значится в летописи с 1420 года. – *Ред.*] – захолустный, бедный монастырь, где архимандритом был родственник нашего мальчика Старушенко[...]. Мы проехали по Николаевской железной дороге до станции Вишера, там сели на пароход и по пустынным берегам реки Волхова доплыли до места, где даже пристани не было. Не помню, как мы высаживались на берег – как будто при помощи лодки, и затем двинулись к месту нашего назначения.

Идти надо было пешком десять верст лесной просекой; вся дорога была покрыта высокими пнями; нам предлагали пользоваться по очереди высланной из монастыря крестьянской телегой, но мы предпочли идти пешком, а не трястись по пням в телеге. Пройдя прямую, как стрела, десятиверстную дорогу, мы вошли в монастырь. За обыкновенными белеными кирпичными стенами расположился корпус для монахов и две-три небольшие церкви и надворные постройки. Кругом простирался невеселый северный ландшафт; невдалеке виднелась бедненькая деревушка. Тишь, а, конечно, и сам монастырь с полным безлюдьем представляли угнетающую картину. Безлюдье объяснялось тем, что монахи работали на полях, а здесь оставалось только десять – двенадцать человек инвалидов и священнослужителей. Когда на следующий день мы вошли в храм, нас поразила бедность обстановки, несмотря на то, что здесь была рака Святителя Ионы, Новгородского митрополита.

За литургией на нас сильное впечатление произвело пение слепых, хромых, глухих монахов, вдохновенно и стройно славящих Бога, и нам казалось, что их пение удовлетворяло и самих поющих! Прожив несколько дней довольно однообразно и скучно, мы однажды в полдень увидели въезжавших в ограду монастыря верхом на усталых лошадях грязных, бородатых мужиков; въезжали они порознь и действовали в монастырской усадьбе как дома. Оказалось, что это и были здешние монахи, и некоторые из них довольно заслуженные; они шли в баню, обедали, отдыхали, а вечером – все это случилось в праздник, когда раздался благовест, – они выходили из своих келий в храм совсем в другом виде. Они уже не походили на тех бородатых мужиков, а выглядели

священнослужителями благообразного и внушительного вида. Впервые нам пришлось встретиться с монахами-хлеборобами, тружениками, а не с городскими монахами-белоручками.

Богослужение проходило чинно, продолжительно, чтение и пение оказалось своеобразно-художественное. Отпраздновав Воскресенье, эти святые отцы опять надевали на себя крестьянские лохмотья и отправлялись вновь на полевые работы до следующего праздника, а монастырь опять замирал в тиши. Мы частенько похаживали в храм, так как обстановка вся и дома и на воздухе нас мало удовлетворяла.

Руководители наши не умели организовать нам развлечений, и мы скучали. Питание было плохое. Архимандрит при встрече с нами обещал нам, что будут нам варить молочную кашу, и из этого видно, что кормили нас неважно. Однажды мы устроили прогулку верхом на лошадях монастыря. Седел у нас не было, и мы привязали ремнями большие подушки. Среди нас был сын крестьянина Заливухин, он без седла и без подушки разъезжал галопом по дорогам как цыган, да и вид у него был настоящего цыганёнка, мы ему завидовали, а сесть без седла на лошадь никто не решался. Привязав подушки, мы с трудом влезли на высокие спины лошадей, и, не успев как следует освободиться и разобрать повод, вдруг с места понеслись по дороге. Оказалось, что горячий Заливухин с криком помчался вперед, а за ним и наши лошади, не ожидая приказаний, бросились вскачь. Мы растерялись. Балансируя на подушке и держась за гриву лошади, мы некоторое время продержались, но вот подушка у меня съехала на бок, и я со всего размаха шлепнулся на песчаную дорогу. После этого я на лошадь уже не садился.

Среди монахов выделялся уставщик-регент. Это был слепой старик с большой седой бородой и весь годичный круг богослужения вел на память, так как с малых лет стоял на клиросе. Он при прощании с ним горячо убеждал нас не вступать в брак, указывая на легкость и одухотворенность неженатого человека. Он нам импонировал, и мы внимательно слушали его советы, исходившие из доброго сердца. Из наших мальчиков, прислушивавшихся к нему, один ушел на Валаам в монахи, поощряемый своей матерью, но как он там устроился, мы так и не узнали. Валаамский устав строгий, суровый. Хмурый, большой остров на Ладожском озере населен был монахами-тружениками; на острове имелось полное хозяйство и всевозможные мастерские; монастырь сам по себе себя полностью обслуживал во всем, и люди, поступающие в этот монастырь, должны были быть готовы к трудному, подвигу, а на это могли идти и шли натуры исключительные.

Итак, прожив здесь непродолжительное время, основательно наскучавшись, мы с удовольствием возвращались домой.

Теперь занятия мои по скрипке двигались довольно успешно, я легко уже справлялся с этюдами и пьесами. Между старшими мальчиками был Юзефович, также владевший скрипкой, и мы часто играли скрипичные дуэты из школы Берлио, Мазаса [Жан Ферель (1782-1849) – французский скрипач, композитор и педагог, автор фундаментального методического пособия «Скрипичная школа». – *Ред.*] и других.

Однажды вечером Василий Александрович сообщил мне, что надо одеться получше, взять ноты и скрипку, так как он берет меня к своим знакомым. Лучшим моим номером была в моем репертуаре фантазия на темы из оперы Доницетти «Дочь полка» – Анданте и Марш. Еще я подготовил данное мне Василием Александровичем сопровождение серенады Брага [Брага Гаэтано (1829-1907) – итальянский виолончелист и композитор, автор 8 опер, пьес и концерта для виолончели, а также школы игры «Metodo per violoncello...». «Серенада ангелов» – самое популярное из его сочинений. – *Ред.*]. Пробежав по Невскому, так как Василий Александрович не ходил, а бегал всегда, мы сели в конку и доехали до Васильевского острова; вошли в роскошную квартиру адмирала Небольсина. Меня представили как ученика; здесь приняли меня очень ласково, и я почувствовал себя свободно в новой обстановке.

Мою игру на скрипке одобрили, и сопровождение мое певице Кнорре ансамбля не испортило. За столом оказалось много людей. Напротив меня сидели братья Небольсины с гостями

и рассматривали мое лицо. Пришли к заключению, что по типу оно немецкое. Здесь же присутствовал медик – лейб-медик императора Боткин [Евгений Сергеевич, расстрелян с царской семьей в 1918г. – *Ред.*], сын знаменитого Боткина, молодой блондин, своими рассказами и воспоминаниями привлечший внимание всех присутствующих. Мне все это нравилось, но больше всего то, что несмотря на позднее время – было уже за полночь – я еще не в постели, а сижу в обществе интересных людей. В этой семье я впоследствии бывал не один раз [...]. У них была ложа в Мариинском театре, и однажды они пригласили нас на спектакль, когда ставили несколько картин из «Руслана» и одноактную оперу Масканыи «Сельская честь». Спектакль произвел на меня ошеломляющее впечатление глубоким драматизмом Фигнера в «Сельской чести» и чарующей оркестровкой «Руслана», в особенности в балладе Финна. Мне всю ночь грезился этот сказочный мир. За дирижерским пультом был Направник [...], контролировавший каждую ноту по часам с огромным циферблатом, помещавшимся наверху над сценой.

Потом почти ежедневно я встречал Направника на Казанской улице, где он, по всей вероятности, жил и по утрам, часов около десяти, проходил пешком до театра. Он был среднего роста, сухощав, изящно одет, всегда в котелке и в перчатках. Вся фигура его говорила о человеке гибком, стальном, с громадной внутренней силой, лицо плоское, желчное, с небольшой русой бородкой. Однажды знакомый хорист-певец провел меня на сцену Мариинского театра и поставил меня на сцене сбоку. Репетировали «Виндзорские кумушки» [самая известная опера немецкого композитора Отто Николаи (1810-1849). – *Ред.*], и за пультом был Направник. Металлическим сжатым голосом делал он указания оркестру и певцам. В суфлерской будке сидел мой кумир – регент Николай Матвеевич Сафонов, который еще продолжал регентировать в Троицком подворье, а здесь работал как суфлер. Когда я со сцены прошел в зрительный зал, большой и темный, передо мной пробежал Фигнер в синем фраке с серебряным значком артиста Его Императорского Величества.

Видел я Направника в Дворянском собрании на духовном концерте хора Мариинского театра. Дирижировал хормейстер Беккер [Фёдор Фёдорович. – *Ред.*]. Направник с Аренским сидели в антракте сбоку эстрады горячо о чем-то разговаривали, причем Аренский был неподвижен, а Направник весь в движении, в особенности его руки, пальцы. Со стороны оставалось впечатление разговора немного с говорящим.

Среди прихожан Казанского собора был некто Дидюлин – полковник в отставке. Это был человек среднего роста, с окладистой седой бородой, с огненными глазами и громким голосом которым он, как рассказывали, сразу усмирлял, выходя в Варшаве из вокзала, раскричавшийся на площади еврейский базар. Этот человек благоволил ко мне и, не спрося меня, заручился согласием профессора Галкина прослушать мою игру на скрипке [...]. Надо было ехать. Жил он на Вознесенском проспекте внизу углового дома. Галкин принял нас в халате, извинившись перед Дидюлиным за свой туалет, указав на то, что этот день – воскресенье – единственный в неделе, когда он может не одевать тесного фрака. Я развернул свои единственные ноты, неизменную «Дочь полка» и заиграл, а он аккомпанировал. В результате прослушивания он пообещал дать мне в учительницы свою ученицу. Помню, оттуда мы зашли в приличный трактир, в так называемую чистую половину, он заказал два пирога с рыбой. Пироги оказались вкусные и внушительного размера, стоимостью 25 копеек каждый. Я едва смог справиться с половиной, а он присоединил остальное к своей порции, так как аппетит имел необыкновенный. Жил он очень скромно в небольшой комнатке казенного учреждения, несмотря на то, что его родной брат был комендантом Зимнего дворца – лицо, близкое государю. Кажется, с братом они были в ссоре. Однажды у Дидюлина я встретил красивого мужчину средних лет; он оказался сыном известного композитора Варламова, автора популярного романса «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Он похож на своего отца, а его брат – артист Александринского театра [в советское время Ленинградский академический театр драмы им. Пушкина – *Ред.*], тоже Варламов, совсем не был похож на отца; его я видел не однажды в Казанском соборе, ставящим свечи перед иконой. Этот новый знакомый готов

был со временем устроить мне протекцию в оркестр Александринского театра. Но скрипачом мне не суждено было стать.

Как-то Василий Александрович взял меня в консерваторию. Она помещалась в здании театрального училища около Александринского театра. Помещение было светлое, но тесное, и зрительный зал с эстрадой тоже небольшой. Что будет, как будет – Василий Александрович по своему обыкновению не сообщил мне. В зале был полумрак. Вдруг широко распахивается дверь, и в дверях на свету вырисовывается фигура Антона Рубинштейна с лохматой головой, окруженная профессорами. Они прошли в зал, и Рубинштейн занял в центре свое особое кресло. Тотчас полились оркестровые звуки, но тут же оборвались. «Кто это?» – спросил Рубинштейн недовольным голосом. Из оркестра послышался голос дирижера, назвавшего фамилию ученика, испортившего вступление. «Ну, вечно!» – сказал Рубинштейн, и начали снова. Репетировали картину из оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова и картину из оперы Соловьева «Кузнец Вакула». Рубинштейна после этого вскоре хоронили [умер 08.11.1894г. по ст. стилю. – *Ред.*], но я на похороны не попал – был проливной дождь.

Около этого же времени происходила закладка нового здания консерватории против Мариинского театра, и наш хор пел молебен. Присутствовали, как помню, Кюи в генеральской форме – в шинели с малиновыми отворотами, Римский-Корсаков и много других знаменитых музыкантов[...].

Приблизительно в этот отрезок времени я видел императора Александра III в Казанском соборе. Это произошло в будень, часа в два пополудни. В соборе почти никого не было; раздался звонок – и вошел император, высокий, тучный, в короткой военной шинели, с жирной шеей и оголенным черепом. С ним шла императрица Мария Федоровна, очень маленького роста. Не успели они пройти несколько шагов, как к ним подбежала и упала на колени хорошо одетая, в трауре, пожилая дама. Она протянула императору руку с письмом; он [...] поднял ее и начал тихо с ней говорить. Разговор был краток, и сейчас же императорская чета двинулась к алтарю, а к даме подошли военные и какие-то чиновники.

Видел я императора и на улице, проезжавшего в открытом экипаже-ландо. Всегда можно было предвидеть его проезд, если наблюдался усиленный наряд полиции на улицах. Однажды видел я его и во дворе Мариинской больницы – он обходил больницу из корпуса в корпус. Впереди семенила царица, а за нею крупными шагами шел царь с начальником больницы князем Голицыным. Этот боевой генерал почтительнейше забегал перед императором, забывая и свой генеральский чин, и свой почтенный возраст. Совсем иным этот генерал выглядел на нашей детской елке, устраиваемой ежегодно для детей служащих больницы. Тут он, проходя из палаты в палату, зычным голосом командовал ребятам: «Ура!», и мы штурмовали колоссальное дерево, обдирая с него сласти и украшения до последней блестяшки. Такие ёлки устраивались в трех палатах, отведенных нам на рождественские праздники.

Незадолго до смерти Александра III, сын его Николай, будучи наследником престола и раненный шашкой в голову в Японии, возвратясь из кругосветного путешествия в Петербург, заехал в собор поклониться Святине. Голова его была повязана широкой белой повязкой, вся фигура его производила очень скромное впечатление армейского офицера. Вскоре после этого последовала смерть его отца [20 октября 1894г. – *Ред.*] и похороны. Процессия от вокзала двигалась по Невскому под мелким осенним дождем, задержавшись у Казанского собора для совершения литии. За гробом шел [...] убитый горем скромный человек, но уже без повязки.

Вскоре за этим состоялась его свадьба, и после венчания во Дворцовой церкви [собор Спаса Нерукотворного Образа в Зимнем дворце. – *Ред.*] молодая чета решила поклониться Святине. Все было приготовлено к торжественной встрече: митрополит Палладий стоял на амвоне в облачении, а рядом с ним на аналое лежал подарок новой императрице – роскошная икона. На клиросе два хора, а внизу на местах для публики – весь двор, где особенно выделялись фигуры Муравьева и Победоносцева, который с особенной изысканностью целовал ручку, переходя от одной дамы к

другой. Вошла молодая чета под стройное пение тропаря; митрополит приветствовал словами, взяв в руки подарок – икону; а когда он окончил приветственное слово, Николай Второй протянул руки, чтобы принять икону, митрополит мягко произнес: «Это не Вам!» и отдал икону Императрице. Император во время молебна нервничал, то и дело почесывал за ухом, а в конце молебна проявил полную растерянность, не решаясь – что же дальше делать: стоять и чего-то ждать или уже идти и всем этим возбуждал среди присутствующих большую неловкость. Императрица производила совсем другое впечатление. Она стояла как изваяние, будучи ростом на голову выше своего мужа; обращал на себя внимание ее яркий румянец, четырехугольный, во всю щеку, совершенно не идущий к ее лицу, к ее общему виду. Был ли он в результате ее внутреннего волнения или это всегдашний ее облик, я так и не знал, так как никогда больше ее не видел.

Видел я Владимира Александровича – дядю Императора, по приказанию которого позже были расстреляны рабочие 9-го Января. Этот генерал вошел в алтарь Казанского собора, когда я случайно там был; он стоял у колонны, рассматривая красивый алтарь. Через некоторое время к нему подбежал староста собора – купец Барышников и в чем-то извинялся. Потом выяснилось, что швейцар собора не дал звонок, полагающийся при входе в собор высочайших особ; тем более это было неприятно, что князь в своем приезде предупредил старосту. Когда швейцару делали выговор, он ответил: «А я думал, что это «простой анерал!» Карета или открытый экипаж особ, принадлежащих к царствующему дому, имел на передних фонарях маленькие золотые короны; этих корон-то швейцар и не заметил. Видел я и Константина Николаевича – брата убитого императора Александра II, претендента на престол. Он говорил Александру-брату: «Ты родился, когда отец был еще наследником, а я родился, когда отец был уже императором!» Он был либерален, и его удалили от двора в Павловск, где он жил во дворце, окруженный преданными ему лицами. В описываемое время он был разбит параличом, и его возили в специальном кресле, в окружении большой свиты из военных, сам же он носил морскую форму. Однажды по какому-то поводу наш хор оказался в его парке; идя по дорожке группой в 7-8 мальчиков, мы, конечно, не обратили внимания и прошли бы мимо двигавшихся нам навстречу людей, но один из военных, опередив остальных, приказал нам почтительно поклониться, что мы и сделали. И тут мы видели, как князь ответил нам милостивым кивком.

Однажды я за всенощной управлял левым клиросом, а на правом дирижировал Александр Семенович. Всенощная шла с субботы на воскресенье; в соборе стоял вечерний полумрак: электричества тогда еще не было. Пропели ирмосы [разновидности тропарей. – *Ред.*], осталась заключительная 9-я песнь в честь Пресвятой Богородицы. Однако, дьякон почему-то, не дав нам спеть, начал эктению. Спустя две-три минуты среди хора на клиросе неожиданно оказалась фигура Победоносцева (высокая) и в таких выражениях размеренным, громким голосом он начинает нас отчитывать: «Мы, стоящие в храме, ждем момента, когда вы запоете «Всяк земнородный да възыграется!»», а вы нас лишили этого!» и дальше в этом роде. Все это мы выслушивали, пока псаломщик читал положенное, стоя посреди храма. Мы молча выслушивали его, не смея оправдываться, хотя всем было ясно, что виноват был дьякон, а совсем не мы. Мне и теперь непонятно, как мог он сделать замечание не по адресу.

Им была получена из заграницы партитура «Литургии» протоирея Протопопова для мужского хора. Он поручил через настоятеля собора нашему мужскому хору приготовить ее. Репетиции шли недели две, и в назначенный день, не в праздник, мы исполнили ее в присутствии Победоносцева. По окончании «Литургии» Победоносцев поднялся на клирос и всем певцам, начиная с регента, пожал руку. Он был уверен, что его рукопожатие полностью вознаградило нас за наш двухнедельный труд вместо денежной оплаты. Да, так думал не он один, а и другие вельможи.

Незадолго до смерти Александра III мне посчастливилось увидеть Чайковского. Проходя по Невскому проспекту в Троицкое подворье, я обратил внимание на группу интеллигентных собеседников, стоящих на тротуаре близ публичной библиотеки; в центре группы стоял Чайковский

в демисезонном пальто и в котелке. Лицо его все хорошо знали, так как портреты его виднелись во всех витринах магазинов по всему Петербургу. Лица, его окружавшие, особенно любовно-почтительно разговаривали с ним; и, действительно, он обладал обаятельной внешностью и какой-то внутренней красотой. Этот приезд его в Петербург был вызван его репетициями в Дворянском собрании, находившемся тут же на Михайловской улице (на углу). Но уже через несколько дней его торжественно отпевали в Казанском соборе при участии хора Мариинской оперы во главе с хормейстером Беккером и нашем участии на левом клиросе (1893). Литургия, написанная самим Чайковским, впервые прозвучала под сводами нашего собора, возмущая священнослужителей своей неслыханной свободной формой. В особенности негодовал настоятель собора Лебедев, так как он был приверженцем простого пения.

Вход в собор был по особым билетам, и получили их лица, близкие композитору, артисты и музыкальные деятели. Здесь присутствовали: Балакирев, Римский-Корсаков и другие композиторы, сомкнутыми рядами стоявшие у дорогого гроба. Главным распорядителем был Фигнер, моряк-артист Мариинской оперы и близкий друг Чайковского. После отпевания в соборе процессия двинулась по Невскому к Александро-Невской Лавре, сопровождаемая неисчислимым числом народа, отдававшего последний долг обожаемому композитору.

Известного в то время священника Иоанна Кронштадского я видел три раза. В первый раз – когда мне было двенадцать лет. Проходя по Невскому, я заметил столпившихся людей у подъезда, двери которого были настежь раскрыты. Узнав о том, что по этой лестнице сойдет чтимый священник, я быстро поднялся по лестнице и оказался в зале, полном народа. Священника, идущего по ковру, сопровождали несколько человек. Он шел, не смотря ни на кого, поднимая глаза вверх. Я подошел и попросил благословения, но он не ответил, как бы не слыша. Сопровождавший его священнослужитель шепнул мне: «Скажите громче!» – и на мою вторую просьбу он дал мне благословение. Второй раз я видел его в Казанском соборе на торжественном митрополичьем богослужении; он тоже служил. Во время причастного стиха к проповеди он быстро проходил в алтарь мимо нас, стоящих по сторонам, и сказал: «Какие у вас красивые басы!» Выглядел он необычайно жизнерадостным. Он был среднего роста, средней комплекции человек, румяный, с проседью, движения его порывисты, взгляд быстрый, дышащий огнем и энергией. В третий раз мне не было его видно, но я хорошо слышал его служение в церкви на Бассейной. Проходя мимо подворья, я узнал, что он совершает литургию. Протиснувшись вперед с трудом в середину храма, я услышал самый важный момент литургии – «Милость мира!». Меня поразило стиль его служения: отрывистый, резкий, нервный – так гармонизировавший со всей его внешностью, запечатлевшейся навсегда у меня с первых встреч с ним. Его служение оставило во мне огромное впечатление.

В третью зиму моего пребывания в хоре Казанского собора я хорошо продвинулся по скрипке и играл уже сонатину Раффа [Йозеф Иоахим (1822-1882) – немецкий композитор, автор многочисленных, но малоизвестных оркестровых и камерных сочинений, опер, ораторий, транскрипций и др. – *Ред.*]. На фортепьяно больше читал с листа, чем работал над техникой. «Теорию» Спасской мы прошли и приступили уже к «Гармонии» по учебнику Римского-Корсакова.

Весной Василий Александрович сообщил мне, что он говорил с директором Консерватории Иогансенем о моем поступлении по классу скрипки, и сказал мне день экзамена. Несмотря на то, что я не совсем уж упорно занимался по скрипке, не так, чтобы осмелиться поступать в Консерваторию, где требования к экзаменуемым предъявлялись очень высокие, я был вынужден подчиниться Василию Александровичу и пойти на заведомый провал. У меня и учителя-то настоящего никогда не было, за исключением рекомендованной Галкиным его ученицы, которая, позанимавшись со мной месяца два, уехала к себе на родину. Впоследствии она вышла замуж за Галкина, и я видел их фотографии с детьми в Павловске, где Галкин был в течение ряда лет несменяемым дирижером симфонического оркестра. Итак, решено: я иду на экзамен. В тесной комнате с мягкой кушеткой, на которой, развалившись, сидели Ауэр и Галкин, экзаменуя входящих по одному скрипачей. Лучшим из

них Галкин давал совет поступить в школу Даннемана и Кривошеина, а мне сказал, что я еще мало сделал, и таким образом подтвердил все мои опасения.

В школе Даннемана и Кривошеина был ученический оркестр, в котором играли и посторонние; этот-то коллектив я и начал посещать в качестве второго скрипача. Оркестр был маленький, человек 15-17, и использовался в школе главным образом в концертах для фортепиано. Играли оба концерта Мендельсона, концерты Гайдна и Моцарта и другие произведения. Мое участие в этом ансамбле очень помогло мне в моем музыкальном развитии, знакомило меня с симфоническим оркестром, с музыкальной литературой.

Среди мальчиков я уже являлся старшим, стоя во главе наших детских выступлений. Голос мой начал сдавать, и надо было серьезно думать, что же делать дальше. И я решил готовиться к поступлению в регентские классы Придворной капеллы. Теоретически я был готов к поступлению в первый класс, минуя подготовительный.

Этим летом нас отправили в Сергиевскую пустынь на берегу Финского залива. Этот небольшой, но роскошный монастырь славился дивными храмами, между которыми был и собор, построенный Растрелли. Он, подобно Смольному, был весь белый с синими стеклами в окнах, свет от которых причудливо продвигался по стенам и полу, создавая особое настроение. У святых ворот стоял второй храм в греческом стиле с разноцветными окнами. Был еще храм около трапезной, большой и весь в колоннах. Кругом закрытые храмы-мавзолеи, архитектурой своей поразившие новичка. Все кругом в зелени, дорожки посыпаны песком, могилы и часовни тщательно убраны. Все говорило о том, что это место было избранным для любимцев царственных особ, начиная с царедворцев Елизаветы Петровны.

Кругом полная тишина, лишь изредка нарушаемая криком галок и красивым колокольным звоном. Во главе монастыря стоял архимандрит, старик, который никогда и нигде не показывался. Жил он в покоях, окна которых выходили к заливу, а сам дом был окружен садом. Впоследствии говорили, что он был автором проекта храма «Спаса на Крови». У него был помощник – игумен, человек не старый, энергичный. В темные вечера он лично обходил с прикрытым фонарем все кладбище и сад и сам следил – нет ли где нескромных пар.

Община была человек 70-80, и все монахи одеты очень опрятно, даже нарядно. Размещались они в двухэтажных изящных корпусах, прилегающих к стенам, и имели довольно большие, светлые кельи. Трапезная – длинная, светлая, с окнами громадной величины, выходящими на безбрежный залив. На стене – изображение Христа в царском облачении. Во всю длину трапезной стоял громадный стол, покрытый белой скатертью, хорошо сервированный, кругом него – венские стулья. Питание монахов было хорошее. Обед в будни из 4-х блюд: 1-е – холодная закуска, 2-е – щи, 3-е – уха из судаков, 4-е – каша молочная или с постным маслом. Прекрасный черный хлеб, квас и по рюмке водки. В праздники обед был разнообразнее и давали вино. Необычайное впечатление оставалось, когда лучи заходящего солнца, спускающегося в воды залива, золотили всю картину трапезной с Царственным Христом и монахи своими зычными голосами славили Его. Пение монахов – своеобразное, с альтами; оно вливалось в душу не гармонической красотой, а внутренним содержанием религиозного чувства, которым проникались сами поющие. На острове небольшого пруда виднелась дача Витошкина, соединенная с монастырем таким же причудливо-капризным мостиком, как и сама эта дача по своей архитектуре. В этой даче нас и поместили. Обедали и ужинали мы в общей трапезной. Купались в пруду и на взморье. Пляж там прекрасный, но есть в нем небольшое неудобство, заключающееся в мелководье, и идти надо было очень далеко в воде, чтобы дойти до глубокого места. Вокруг монастыря расположились поселки и дачи, откуда в праздники приходили богомольцы в большом количестве. Соседство это для монастыря в нравственном отношении было большим минусом. В трех верстах находилась Стрельня – роскошный дворец в сосновом бору на берегу залива. В сравнении с прошлогодней Отенской пустыней это место было полной противоположностью. Там – бедность и убожество, здесь –

роскошь; там монахи-труженики, здесь монахи, почти все не знающие физического труда. Там природа угрюмая, однообразная, здесь – все радует глаз.

Мы здесь хорошо отдохали, наслаждаясь окружающей нас красотой природы, обрамляющей чудесные творения человеческих рук и живо воспринимаемая обстановку. Меня влекло в храм, где особенная красота конкурировала с внешней красотой природы. Я тянулся в храм и утром к литургии, и вечером к всенощной. Голоса монахов гармонировали с вечерним золотистым освещением заходящего солнца. Это искание церковной красоты разделял со мною мой товарищ Ваня Цыбишев, который как-то по особенному устремлял взор неподвижно вдаль. Мы с ним были очень дружны, но он вскоре покинул наш хор, и больше мы никогда не встречались.

Юность

В сентябре я держал экзамен в Придворную капеллу и был зачислен в первый класс регентского отделения. Римский-Корсаков уже ушел из капеллы, не было уже и Балакирева, их заменили Аренский и Ляпунов.

Римского-Корсакова мне пришлось видеть здесь прежде, когда один из старших мальчиков – Эклунд – уже учился в капелле. Я стоял с Эклундом в коридоре, разговаривали; здесь с нами находились еще несколько человек. Быстро открылась дверь, и из класса вышел Римский-Корсаков с двумя парами очков на носу. Он назвал кого-то по фамилии. Одет он был в серый летний костюм, довольно-таки помятый, и башмаки, довольно-таки поношенные, но, несмотря на это произвел впечатление барина-профессора.

Балакирева я видел не однажды в храме Троицкого подворья в будни за всенощной. Он покупал десяток-полтора свечей и неторопливо, благоговейно ставил их перед иконами. Прежде – атеист, теперь он превратился в верного сына Православной церкви.

В этот период жизни я был охвачен глубоким религиозным чувством и тянулся к храму. Особенно полюбил я будничную службу, когда в храмах было малоллюдно, иногда даже почти никого и не бывало. Храм Троицкого подворья стоял на Фонтанке около дворца Сергея Александровича (Великий Князь. – *Ред.*) вблизи моста по Невскому, знаменитому своими замечательными чугунными группами по четырем углам [...]. Группы эти – творение барона Клодта (конные скульптурные композиции на Аничковом мосту. – *Ред.*). Храм этот, как и домовая церковь [Инженерного замка. – *Ред.*], четырехугольный, с белым мраморным иконостасом. Сюда-то мы с матерью когда-то ходили к службе, за что я получал от неё пирожки с вареньем. По понедельникам служили после всенощной акафист преподобному Сергию. Здесь-то регентировавший Сафонов со своим маленьким хором, но хорошего состава взрослых певцов из Мариинского театра, проводил свой изумительный речитатив. Я убежден, что знаменитый речитатив московского Данилина [Николай Михайлович (1878-1945) – выдающийся регент, учился и работал до 1918 года в Синодальном училище, триумфально гастролировал по странам Западной Европы. – *Ред.*] является наследием Сафонова. Этот хор принёс мне огромную пользу в выяснении задачи хорового искусства. Не удивительно, что граф Шереметьев, после размолвки с Архангельским, предложил его место Николаю Матвеевичу Сафонову. А, как нам известно, сам Шереметьев и дирижировал, и композиторствовал, стало быть, хорошо разбирался в специалистах.

Мои экзамены прошли благополучно, и я начал занятия в группе Н.А.Соколова. Вторая параллельная группа занималась у А.К.Лядова. Проходили гармонию, занимаясь два раза в неделю по два часа. По скрипке я занимался у Сизова; по фортепиано у Горбунова; класс ансамбля проходил у Щеглова; церковное пение – у Азеева; и у Азеева же – общее хоровое пение; церковный устав – у Смирнова.

Предметов немного, но у меня едва хватало времени и на это, так как надо было подгонять еще и научные предметы, знания по которым у меня оказались далеко не в порядке. Моя учительница по этим предметам Августа Ивановна выходила замуж и нашла мне бесплатную учительницу по всем предметам, кроме языков. [...] Мария Николаевна Нилкина, дочь адмирала,

только что схоронила свою любимую мать. У нее было много свободного времени, так как, имея хорошую пенсию, она могла не служить. Жила она на Васильевском острове по второй линии, занимала большую, хорошо обставленную квартиру, имела прислугу. У нее была большая собака, которую каждый день выводил на прогулку заходивший к ней изящный барон Штакельберг, впоследствии ставший её мужем. Все это было хорошо, если бы не чрезмерно длинный путь до нее от моего места жительства. Путь этот физически изнурял меня и отнимал много времени. Добросовестно прорабатывать все задания по научным и музыкальным предметам не было никакой возможности, к тому же обед и чай у нас бывал в точное время: опоздал – будешь без обеда. Немецкий и французский языки я проходил с Августой Ивановной, а жила она в противоположном конце города – у Невской Лавры. Конечно, можно было бы пользоваться конкой, но денег было в обрез, и каждый пятак считывался.

[...] При Казанском соборе был хор, называвшийся Народным потому, что в его состав принимались все желающие; здесь пели кустари, старшие дворники, старушки-пенсионерки, пели и молодые портнихи, шляпницы. Словом, народ. Этот хор пел в соборе раннюю обедню в праздники и вечерню. Пение было преимущественно трехголосное простого и монастырского распева. Эта организация являлась одной из форм проявления деятельности «Общества религиозно-нравственного просвещения». Организатором его был наш регент Александр Семенович Фатеев. В дальнейшем основной состав этого хора перешел в храм на Стремянную и вырос в профессиональный коллектив, а часть его – люди более почтенного возраста – осталась петь в соборе под управлением Александра Семеновича, сдавшего свое руководство главным хором сыну своему Василию Александровичу. Василий Александрович за последнее время значительно вырос, в деле управления хором окреп и уже издал около десяти своих духовно-музыкальных произведений, отличавшихся интересным голосоведением и содержанием. Старику-регенту было довольно трудно управляться с этим неповоротливым любительским составом. И он постепенно втянул меня в это дело. При моей помощи и при моем бойком владении фортепьяно, которое к этому времени стояло уже в репетиционном зале, спевки проходили живо и успешно. Я начал заменять регента и на богослужении, и, как правило, на вечерне, происходившей в 4 часа дня, т.е. в те часы, когда по строгому расписанию старого регента он отдыхал в постели после обеда. К своим новым обязанностям я относился добросовестно, и дело у меня пошло хорошо. Теперь мне дали жалование – 10 рублей и отдельную комнату в другом церковном доме по Казанской улице, № 15. Теперь была у меня и мебель мягкая, и разбитое пианино, на котором все же можно было кое-как заниматься. Я – уже юноша, мне 17 лет.

Постоянная внутренняя работа над самим собой приносила свои плоды, и я не по летам сделался серьезным; и друзья-то у меня теперь были только взрослые люди. На клиросе я продолжал стоять в кантуше между альтовой и теноровой партиями, сам подыскивая себе подходящую тесситуру в очередном песнопении. В моем стремлении самому сочинять часто возникали сомнения в своих возможностях создать что-либо подобное сочинениям моего регента Василия Александровича; его произведения с успехом исполнялись нашим хором, значительно выросшим и количественно, и качественно.

Тяжелая зима подошла; надо было попасть на уроки скрипки, который почему-то назначен был мне на 9 часов утра; в два часа – урок гармонии; в 6 часов – хоровое пение; а тут еще надо было бежать на Васильевский остров на занятия, а если это было накануне праздника, то успевать и ко всенощной, после которой Екатерина Александровна назначала урок по Закону Божию. Очень часто бывали такие дни, когда я, измученный, возвращался домой, не раздеваясь, падал на кровать и просыпался только утром.

Однажды, усталый, возвратясь после целого дня работы, я зажёл керосиновую лампу и прилёг немного вздремнуть. Открывши глаза, сам не помня сколько проспал, я не мог никак сообразить, что делается в моей комнате. Вокруг меня свет был тёмно-красноватый, а в той стороне,

где должна была находиться лампа, светился огненный шар! Наконец, я пришёл в себя и догадался прикрутить фитиль в лампе – и тем спасся от неминуемого пожара. Можно представить, сколько было копоты! Два-три дня я откашливался чернотой.

Особенно трудно мне было вставать в праздники к ранней обедне, когда пел Народный хор. Заведённый натуго будильник у самого уха пронзительно трещал, но мой утомлённый организм, не считаясь ни с какими требованиями, сладко вбирая силы, смутно ощущал какие-то звуки. Такое полудремотное состояние продолжалось до тех пор, пока нетерпеливые удары в оконное стекло посланного из собора сторожа не будили меня и я, раздосадованный своей оплошностью, мчался в собор, предчувствуя недовольство моего старика-регента.

Занятия мои с Марией Николаевной не давали желаемых результатов. Мы проходили грамматику, алгебру, геометрию, историю, географию, но всё как-то не фундаментально. Может быть, всё это объяснялось моей плохой домашней проработкой задаваемого материала: я сплошь и рядом приходил с невыученным уроком, просмотрев его лишь дорогой. Учительница знала про это, но всегда учитывала условия моей жизни, снисходительно относилась ко мне, и я не получил от неё ни одного замечания или выражения недовольствия. Часто мы, окончив мои занятия, по её просьбе играли в четыре руки попури из итальянских опер; изложение не представляло для нас трудностей, и дело шло гладко, доставляя нам художественное удовлетворение. А в морозные дни она угощала меня горячим чаем с вареньем. Если из разговора со мной ей приходилось узнать о болезни кого-нибудь из моих товарищей, она давала мне деньги на покупку варенья больному. Брала для меня книги из библиотеки, преимущественно исторического содержания, но читать мне их было некогда, да и желания особого тогда я не испытывал, так как в то время читал исключительно духовную литературу, которую покупал на свои скудные средства. Ей же возвращал книгу как прочитанную, пробежав наскоро по страницам.

В капелле мои занятия, строго говоря, шли едва ли лучше, чем занятия с учительницей; я не успевал, как требовалось прорабатывать музыкальный материал. Однако как материал, так и требования не представляли для меня особых трудностей. Поэтому не удивительно, что я считался среди лучших учеников. На занятиях общего хорового пения мне поручалось фортепьянное сопровождение хору, с чем я успешно справлялся. Литература была доступная – квартеты по преимуществу немецких авторов из сборника Мельникова [Иван Александрович (1832-1906) – русский певец-баритон, в 1867-92 гг. – солист и режиссёр Мариинского театра; в содружестве с хормейстером театра Ф.Ф.Беккером издал 3 сборника «Русских хоров». – *Ред.*].

Учащиеся регентских классов капеллы в большинстве своем – люди взрослые, и общий состав всех классов достигал 70 человек [...]. Звучание хора, подкреплённое имевшимися среди нас хорошими голосами, производило художественное впечатление. Хоровые занятия продолжались с перерывами два часа, и временами мы испытывали подлинное эстетическое удовлетворение от своего исполнения. Вёл эти уроки Евстафий Степанович Азеев. Среднего роста, сутулый, брил бороду, но оставлял маленькие усы. Император Александр III неоднократно говорил регенту Придворной капеллы Смирнову, помощником которого в то время был Азеев: «Когда же ваш Азеев совсем сбреет усы?». Но Азеев как-то ухитрялся обходить это замечание царя и сберегать свои усы. В систему занятий хорового класса Азеева входили: самостоятельный выбор учащимися репертуара, самостоятельная проработка его дома, разбор и разучивание его с хором. На занятиях хорового пения учащиеся сидели за партами, разгруппированные по голосам, а сам Азеев часто находился в учительской за стеной. Если во время урока в его отсутствие происходил беспорядок или шум, он входил из соседнего помещения, молча садился у стола рядом с дирижёром-учеником. Уроки шли в очередь. Случилось так, что во время моих занятий с хором вошёл в класс Аренский. Просидев минут 10, он спросил что-то обо мне у Азеева и удалился. Заглядывал к нам и Ляпунов – инспектор капеллы. Вообще же на регентские классы наше руководство, видимо, обращало меньше внимания, чем на основной состав, в целом представлявший капеллу как весьма внушительное учреждение.

Здание Придворной капеллы стояло вблизи Зимнего дворца у Певческого моста. Невысокое здание капеллы красивой архитектуры вполне гармонировало со всем ансамблем окружающих ее построек. В центре – небольшой квадратный дворик, куда смотрел главный вход здания. Это был вход в красивый концертный зал, а по обеим сторонам зала, в крыльях здания, – справа квартира директора и общежитие маленьких певцов, а слева, во втором и третьем этажах – наши классы.

Состав учащихся наших регентских классов был очень неоднородным [...]. Учились здесь взрослые певцы из разных хоров, кантонисты военных полков, были и священники, и иностранцы из братских народностей, например болгары, сербы и другие. Я подружился с одним болгариним – Ковлаковым, человеком зрелого возраста, ранее преподававшим в болгарской гимназии. Я помогал ему в занятиях, бывал у него на квартире на Гороховой, в двух шагах от моего дома. Он был очень скромен и замкнут, а к музыке мало способный. Если встречал в капелле серба, то держался подальше от него, зловеще сверкал своими чёрными глазами. Когда я спросил его о причине такой неприязни, он ответил, что этот народ, то есть сербы, готов за грош продать султану Болгарию. Он никогда не смеялся, редко на его лице появлялась улыбка; говорил мне о том, как турки зарезали его родителей. Он получал большое пособие от своего болгарского представителя в Петербурге. Таким же образом были хорошо обеспечены и другие учащиеся, приехавшие к нам из иностранных государств. А мы – уроженцы Петербурга, сыны своей Матери-Родины, сами добывали себе скудные средства на жизнь и платили за право учения сто рублей в год.

Азеев, кроме общего хорового пения, преподавал и специальный предмет – церковное пение, т.е. изучение обихода и переложение обихода на хор. Предмет этот вёлся скучно, и по этой причине интереса к себе с нашей стороны не возбуждал.

Гармонию и сольфеджио вёл Николай Александрович Соколов, ученик Римского-Корсакова и близкий к нему человек. Он был среднего роста, в то время средних лет, носил эспаньолку и всегда изящно одевался. Вместе с Анатолием Константиновичем Лядовым он занимался у Римского-Корсакова. Их обоих он [Римский-Корсаков. – *Ред.*] выпроводил из консерватории, как мало успевающих, и опять пригласил заниматься, когда случайно, на стороне, услышал их сочинения. И у нас в капелле они преподавали в одно время; один вёл основной класс, другой – те же предметы в параллельном. Занятия по гармонии велись так: Соколов объяснял правило соединения ступеней, писал на доске пример и тут же давал нам пробную задачу; сейчас же проверял у каждого сделанное [...] и задавал на дом ряд задач по учебнику. Следующий час был урок по сольфеджио: пели по учебнику Рубца, сам Соколов сидел у рояля и аккомпанировал; поочерёдно вызывал играть на фортепиано известные сочинения и изредка проводил диктант. Иногда на уроки приходил Лядов, подчас навеселе, и, пошептавшись с Соколовым, вводил его с занятий. Такие сокращённые занятия, как мы заметили, совпадали с днями получения ими жалования. Тут Лядов действовал энергичнее, Соколов же сдержанно улыбался, прикусывая нижнюю губу, давал нам наскоро работу к следующему уроку и они быстренько исчезали.

По фортепьяно со мной занимался довольно молодой пианист Горбунов; проходил он со мной много этюдов и различные пьесы. Со скрипкой дела у меня обстояли не блестяще – просто на всё не хватало времени, но чтение партитур со скрипкой в руках шло у меня хорошо. Этот предмет заключался в следующем: на пюпитр ставилась хоровая партитура и наша задача была, в том, чтобы, быстро ориентируясь, играть с листа заданную партию одновременно с партнёром, исполняющим другую партию, соблюдая с ним ансамбль. У меня был хороший напарник, с которым мы уславливались, какой партии каждым из нас будет придерживаться. Своей находчивостью и бесперебойностью исполнения мы приводили в восторг нашего преподавателя старика Краснокутского [Пётр Артемьевич (1849-1900), ученик Г.Венявского и Л.Ауэра, до 1889г. – концертмейстер оркестра Мариинского театра, с 1888г. – профессор консерватории. «Старику» в описываемый период было всего 45-48 лет. – *Ред.*].

Был в нашем учебном плане ещё один предмет – церковный устав. Это было совсем мёртвое дело. Преподаватель по книге диктовал порядок богослужения, начиная со всенощной. Предмет этот преподавал, а вернее – диктовал наш старший регент капеллы Смирнов. Был он среднего роста, носил бакенбарды и имел тихий голос. Среди музыкантов он был известен тем, что дирижировал синкопами. В этой его манере было замечательно то, что хор и начинал, и пел на следующую долю его взмаха, а не на ту, что он давал, и это приводило всех в изумление. Хор же придворный отличался необычайной ровностью голосов; это был единый, слитный организм, хотя и несколько монотонный, так как у него не было настоящего пиано и [...] настоящего форте; всё сдержанно и как-то механично. Смирнова считали неспособным, но когда он ушёл, хор потерял своё особенное лицо и превратился в обыкновенный хор.

В концертном зале капеллы бывали концерты, в которых выступал симфонический оркестр из мальчиков-певцов – учеников капеллы. На этих концертах бывали и мы. Здесь я после нескольких лет жизни врозь впервые встретил своего Георгия Ивановича, который тоже учился в капелле, в регентских классах, но двумя классами старше. Он пришёл на концерт с каким-то мальчиком, видимо из своего хора. Я с ним вежливо поздоровался и спросил любезно: «Этот мальчик из Вашего хора?». А он сухо мне ответил: «Я вам ничего не скажу, а то вы переманите его к себе!». Я был обижен и молча отошёл.

В эту зиму занятий у меня было очень много: Придворная капелла, занятия с Марией Николаевной, немецкий и французский язык, вечерами по субботам – Закон Божий. Надо было готовиться ко всем этим занятиям; участвовать в основном хоре Казанского собора; помогать, а часто и заменять старого регента и самому руководить хором. К тому же по своей религиозности я по будням посещал храм. Свободного времени у меня совсем не оставалось, а о гуляньях и удовольствиях я уже и не мечтал в этот период жизни. У матери я почти не бывал – посещала она меня в моей комнатке, надеясь, что теперь уже скоро сын возьмёт её к себе.

Я заметил, что отношения мои с Василием Александровичем с каждым месяцем всё ухудшались, но причина для меня оставалась непонятной. Моими занятиями в капелле он теперь совсем не интересовался, так же, как и моими сочинениями; только однажды сделал он поправку в размере первого моего духовного сочинения. Может быть, ему не по душе пришлось моё хорошее отношение к его младшей сестре, ставшей несколько лет позже моей женой, а в то время посещавшей меня с моей матерью. Могло быть причиной и то, что его жена оказывала мне своё внимание в моей трудной и всё же одинокой жизни – внимание, так необходимое мне в то время. Но, может быть, и то, что он видел во мне подрастающего конкурента, пользующегося расположением всего состава священнослужителей Казанского собора. Особенно благоволил ко мне новый священник Маренин; у него было молоджавое лицо, но седая голова; он часто приглашал меня к себе домой обедать. Всегда много расспрашивал и интересовался моей жизнью. Он нашел для меня преподавателя славянского языка – профессора Булгакова, у которого [...] я брал уроки. Это дало мне еще нагрузку [...] сверх всякой меры.

Но время шло, и наступило лето. Экзамены прошли благополучно. В то время я познакомился со схимонахом о. Рафаилом, благообразного вида старцем с лицом святого. Он приехал в Петербург с просьбой к священнику Колоколову, популярному в городе, помочь получить ему у царя разрешение на прирезку земельного участка на Новом Афоне. Священник Колоколов имел много почитательниц среди придворной знати, и через них ему нетрудно было устроить такое разрешение. Этот схимник полюбил меня, бывал у меня дома и все убеждал меня оставить мир и ехать с ним на Афон. Я, разумеется, не мог взять на себя это, твёрдо помня о моём долге перед моей одинокой матерью, а только ждал окончания капеллы, чтобы прочно устроиться и взять её к себе, чтобы жить теперь вместе. В настоящее же время он видел во мне растущего музыканта и нужного ему человека. И ему казалась очевидной моя полезность для их монастырей. Устроив свои дела, он

уехал, дружески простившись со мной. Несколько раз он писал мне с Афона, но постепенно и это прекратилось.

Протоиерей Колоколов был, по убеждению верующих, редким молитвенником. Иоанн Кронштадский неоднократно говорил своим поклонникам: «Что вы приезжаете ко мне? У вас же есть отец Алексей Колоколов!».

Отец Алексей Колоколов тоже благоволил ко мне: я говел у него и бывал у него часто после обедни дома. Выглядел он необыкновенно внушительно: рослый, с огромной шевелюрой благообразно причёсанных седых волос, с большой бородой и с огненными глазами, как будто он сошёл в образе Авраама с картины какого-то художника. Он и ему подобные люди неотразимо воздействовали на мою психологию, помогая мне подсознательно вырабатывать в себе собственный мир, дававший мне силы и бодрость нести безропотно все мои невзгоды и всю тяжесть непосильных для юноши забот.

С наступлением лета Александр Семёнович с сыном Василием Александровичем уехали на юг, никому не поручив официально своих обязанностей. Я, как и при них, должен был управлять Народным хором и одним из клиросов главного хора. На левом клиросе в течение многих лет помогал Подшивалов, имевший право ходить на богослужение в своем костюме и быть во время службы без кантуша. Средних лет, с искусно сделанным и хорошо замаскированным брюками протезом, бывший певчий Невской лавры, едва разбиравшийся в нотах и в тональностях, он проводил репетиции с мальчиками. Разучивая Си-бемоль мажорный концерт Бортнянского, он, видя в партитуре начало у сопран и альтов в партиях ноты Ре и Фа, давал хору тон: Ре, Ля, Фа, Ре [т.е. тональность ре-минор. – *Ред.*]. Сколько раз мальчики не начинали – каждый раз альты съезжали на Ми-бикар ре-минора, и дальше ничего у них не выходило. Наконец, я осмелился подсказать ему тональность. Этот почти официальный помощник регента только что покинул наш хор, и управление левым клиросом поручили певцу-баритону Иванову. Иванов – тромбонист, играл в оркестре, следовательно, в тональностях разбирался, но регентских способностей в нем не замечалось. Внешность его приятна: красив, с большой русой бородой, одевался прилично, но на клиросе стоял почему-то в кантуше. С этим человеком мы остались во главе хора – ответственного дела. В соборе перед самой обедней я его спросил, где он желает быть: на правом клиросе или на левом? Он ответил: «Возьми ты правый, а я на левом!». Мне это было очень интересно и не трудно, он же не решался сам взять на себя ответственность. Итак, в силу обстоятельств, я в свои 18 лет стал во главе большого и видного петербургского хора Казанского собора. Хотя я был ещё юн, все взрослые певцы, не говоря уже о мальчиках, относились ко мне с уважением и любовью. И когда я повёл первую службу, все почувствовали и достаточный опыт, и уверенные знания в нашем деле у молодого руководителя хора. Хотя волнения было много, никто его не заметил. Я же ощущал большое трясение в ногах, в коленях, боролся с собой, но ноги мне не подчинялись – и это понятно. Колоссальный, великолепный собор, наполненный изысканной публикой, среди которой почти всегда присутствовал никем незамеченный Победоносцев – правая рука императора и гроза всего духовенства. Малейшая оплошность с моей стороны могла вызвать переполох за богослужением. Но всё шло гладко; даже, более того, в отдельных моментах хор звучал как-то особенно, например, при пении «Отче наш» [...], что мне отметил восторженно младший брат Василия Александровича – Сергей Александрович, присутствовавший в соборе.

[...] Я подготовил с хором третью часть концерта Бортнянского «Великая Сила», которая прошла блестяще, и хор мною остался доволен, и священники с настоятелем – тоже, а я сам потом благодушествовал. С Народным хором я выучил вновь написанное мною «Милость мира» под псевдонимом Петроградского.

Быстро пролетели эти четыре недели, и Александр Семёнович с Василием Александровичем возвратились домой. Я опять стоял в рядах певцов, и никто – ни старый регент, ни его сын – ничего не сказали мне по поводу моего управления хором в их отсутствие, как будто они ничего и не знали.

Иванов же управлял левым клиросом. Моё «Милость мира» понравилось Народному хору и Александру Семёновичу, и теперь его пели в особенно торжественных случаях.

[...] Прошло и лето; снова началась моя беготня по урокам и тяжелые вставанья по утрам к ранней обедне, которую пел Народный хор. Теперь изнурение мое дошло до того, что я засыпал в храме во время службы. К этому времени моя мать переехала жить ко мне. Занятия в капелле шли своей чередой, и наступили зимние экзамены. К экзамену по дирижированию я взял «Вечерний звон» Абта [Франц (1819-85) – немецкий композитор, автор многочисленных вокальных сочинений. Наиболее популярны его вокализы. – *Ред.*] – произведение широкого звучания, размер 4/4-8/8. Экзамен проходил в концертном зале капеллы, и пел хор из наших учащихся, который звучал очень хорошо. На экзамене присутствовали Аренский и Ляпунов. Когда я закончил дирижировать, ко мне подошёл Азеев и сказал, чтобы я еще экспромтом продирижировал «Будем петь» Вебера за отсутствующего товарища, что я провёл довольно легко [...] Мне единственному поставили «пятерку». Товарищи все согласились с такой оценкой комиссии, считая меня достойным ее.

На этом экзамене было не всё гладко, и мне запомнился случай, о котором небезынтересно рассказать здесь. Один из экзаменующихся, фамилии которого не вспомню, изящный молодой человек из придворного оркестра, дирижировал «Вальс» Аренского, присутствовавшего здесь же. Когда мы начали петь, автор остановил нас и указал дирижировавшему темп вдвое скорее, чем мы запели. Однако в таком темпе мы не репетировали и, разумеется, не смогли теперь с произведением справиться, скандально замолкнув на полуслове. Конфуз наступил полный! Неловко было и самому Аренскому, поставившему неожиданно всех в тяжёлое положение. Неловко было и Азееву, не доведшему на репетициях произведение до нужного темпа. Неловко было и нам, регентам, не сумевшим справиться с всё же уже знакомым нам произведением.

Наш товарищ Ковлаков с моей помощью кое-как тянулся и за дирижирование на экзамене получил «тройку» с минусом. Вероятно, он получил бы больше, но его не любил Ляпунов – очевидно, за его болгарское происхождение, так как в эту полосу международных отношений Болгария не скрывала [...] недружелюбия к России – своей освободительнице.

Мои отношения с Василием Александровичем никак не налаживались: он всё отмалчивался, отворачивался, избегал меня. Александр Семёнович [...] всё хмурился, и мне становилось невыносимо тяжело. Прошли и весенние экзамены. Мои товарищи по капелле и преподаватели считали меня лучшим среди нашего выпуска, и по главным предметам у меня стояла оценка «весьма достаточно». Ковлакову свидетельства не дали, а выдали лишь удостоверение в том, что он учился в капелле.

Итак, наконец, я имею свидетельство об окончании мною Императорской Придворной капеллы со званием регента и [...] возможность устроить свою жизнь с матерью по своему усмотрению.

Если бы условия жизни у меня [...] были сносные, я продолжал бы учиться. У меня были достаточные способности для поступления на композиторское отделение консерватории [...]. Но положение мое в описываемое время сделалось прямо-таки невыносимым. Я едва дождался дня, когда, наконец, могу вырваться из этих тисков.

Мое чувство к младшей сестре Василия Александровича [Екатерине. – *Ред.*] встречало благосклонное отношение у ее отца – Александра Семёновича, у брата же ее, Василия Александровича, – обратное. Эти скрытые противоречия отравляли наши отношения.

Чтобы покончить с этим, я обратился в капеллу за рекомендациями и направлением меня на постоянную службу. Оказалось свободное место в Царском Селе. Там в полку нужен был регент, и я отправился туда для переговоров. Любезно встретивший меня адъютант полка сейчас же представил меня командиру. В их присутствии я провел занятия с хором, прорепетировав несколько пьес. По всему мне было ясно, что я им очень понравился, так как сейчас же мне предложили и жилище. Но комната мне совсем не понравилась, и я уехал ни с чем, пообещав прислать им своего товарища.

Матери своей я ничего неприятного никогда не сообщал, щадя ее покой. Она всегда соглашалась со всеми моими решениями, не возражая, и вполне мне доверялась.

Прошло немного времени с того дня, как я отказался от дела в Царском Селе. И вот посылает за мной Василий Александрович и спрашивает – поеду ли я в Сибирь учителем пения и музыки в Учительскую семинарию на коронную службу? – и я дал свое согласие. Как оказалось, приехал в Петербург директор из Красноярска и в Казанском соборе познакомился с Василием Александровичем. Директор обратился к нему с просьбой порекомендовать преподавателя, и Василий Александрович с готовностью указал на меня, желая разрубить, распутать узел создавшихся трудных взаимоотношений, и приложил все старания, чтобы выпроводить меня поскорее из Петербурга.

Сознательно или нет, но он дал мне неправильные сведения о коронной службе, которой не было. Должность моя была по вольному найму, о чем я узнал [...] позже, много лет проработав в Красноярске. Моей матери, разумеется, было бы приятнее остаться в Царском Селе, нежели ехать в далекую, незнакомую Сибирь, но она не возражала. И я, написав прошение, отправился на Литейный проспект в меблированные комнаты против Мариинской больницы, где остановился красноярский директор. Меня встретил не особенно симпатичный человек средних лет и, взяв бумагу, пообещал на завтра же [очевидно, здесь пропущен глагол «вернуться». – *Ред.*] с «Требованием» прогнанных мне на дорогу. Я же начал понемногу собираться в путь.

Наш Народный хор, узнав о моем отъезде, собрал свои скудные гроши и преподнес мне икону Спасителя с надписью и подобающей речью. В Казанском соборе меня встретил Никольский и, узнав, что я еду в Сибирь, очень удивился. «Но вы будете там царем!» – добавил он. Ему суждено было дожидаться того дня, когда «гусь», как он давно-давно назвал меня, едет на самостоятельное ответственное дело.

В соборе среди служащих шел глухой ропот на Василия Александровича. А староста Барышников, как рассказывали мне мои доброжелатели, резко высказал ему, что он отправляет меня в ссылку. Но Василий Александрович отвечал ему, что он отправляет меня не в ссылку, а что я еду на коронную службу и хорошо там устрою свою жизнь.

Я побывал у своей учительницы Марии Николаевны, теперь уже баронессы Штакельберг, благодарил ее за ее заботы и труды. Она была огорчена моей далекой поездкой. Был я у отца Алексея Колоколова; благословляя меня в далекий путь, он сказал: «Везде Господь!».

Всем казалось, что Сибирь – далекая, холодая, дикая страна, где по улицам бегают медведи; потому-то все мне сочувствовали и как-то внутренне меня жалели, а я это чувствовал. Но мне было все равно, только бы поскорее вырваться из этого тяжелого омота.

Наконец, пришли долгожданные деньги; их оказалось немного – всего 75 рублей. Попрощавшись с настоятелем собора и его дочерью [Лебедевы. – *Ред.*], я попросил у них фотографии, которые всегда сохранял бережно, и отправился домой укладывать пожитки. Не помню, как я попрощался с Василием Александровичем и его отцом Александром Семёновичем: вероятно, их не оказалось дома, когда я заходил проститься. С удовольствием сел я с матерью на извозчика и отправился на вокзал [...]. Нас провожала сестра Василия Александровича [Катя Фатеева. – *Ред.*] и [...] один певец, живший со мной рядом за стеной, – Лаврентьев.

Когда поезд тронулся, Лаврентьев бежал рядом с нашим вагоном и, махая шляпой, зычным голосом кричал: «Вив лё Красноярск!»

Я уезжал с удовольствием...

Прощай, Петербург! Прощай, детство! Прощай, моя юность! Начинается другая, новая жизнь!

Лето 1897г.

На этом обрывается рукопись Павла Иосифовича Иванова-Радкевича.